

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

“Родитель-матушка” и юный странник

Крик.

Крик — и холод...

“Я родился, то шибко кричал, а чтоб до попа не помер, так бабушка Соломонида окрестила меня в хлебной квашонке. А маменька-родитель родила меня, сама не помнила когда. Говорила, что “рожая тебя такой холод забрал, как о Крещении на проруби; не помню, как тебя родила”. А пестовала меня бабка Фёкла — Божья угодница, — как её звали. Я без малого с двух годов помню себя”.

Так излагал начало своей жизни Николай Клюев в 1922 году в “Гагарьей судьбине”, текст которой известен ныне в записи его тогдашнего близкого друга — “последней радости” — Николая Ильича Архипова.

Холод октябрярского листопада — и тепло рук повитухи, тепло хлебной квашни, о которой рассказывала мать. А её собственные руки хранили то тепло — единственное, человеческое, что ощущал он до гробовой доски.

“Родила меня, сама не помнила когда...” Воспоминание о холоде породило сомнения в самой дате рождения Николая, тем паче, что он и сам называл свой год появления на свет по-разному — и 1886-й, и 1887-й. А Василий Фирсов, петрозаводский прозаик, со ссылкой на “Олонецкие губернские ведомости” утверждал, что “холод... как о Крещении” убеждает в справедливости слов самого Клюева. “Дело было так: 12, 13 и 15 октября стояли довольно сильные морозы, от которых Ундозеро, величиною не больше версты, покрылось льдом. Крестьяне деревни Мошниковской в числе 12 человек, обрадовавшись льду, выехали на озеро ловить рыбу. Ловили они 14 и 15 октября, рыбы попало много. В ночь на 16-е — оттепель, несмотря на это, крестьяне вновь отправились на ловлю, лёд провалился. Несколько человек утонули.

Как известно, Н. Клюев указывал не только другой год рождения (1886 или 1887), но и — нередко — другие числа месяца — 12-е или 13-е. Сильные морозы ударили как раз в эти дни. Добавим также, что в этот период холодная погода была и в 1886 году, а 1884 год по климату был обычным”.

Погода на Русском Севере слишком переменчива. Не успеешь порадоваться солнцу, как задует, закружит лютый ветер, а там и мороз ударит — света белого не взвидишь. Ударит — и отойдёт, и снова “климат обычный”. А мороз — он и не сутки, а лишь часы стоять может. Так что запомнился тот лютый холод, что наступил в часы появления на свет младенца, в материнском полубеспамятстве.

А дата – дата определена самым надёжным источником.

АРХИВНАЯ ВЫПИСКА

Метрической книги Коштугской церкви на 1884 г.

Месяц и день рожд., крещ. 11 октября.

Имена родившихся Николай.

Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания Вытегорского уезда, Коштугской волости, полицейский урядник, отставной фельдфебель Алексей Тимофеев Ключев и законная жена его Параскева Дмитриева, оба православного вероисповедания.

Звание, имя, отчество и фамилия восприемников Коштугской волости фельдшер, запасной медицинский фельдшер Сийской местной команды Иван Агафонов Гусев.

Настоятель священник Кирилл Павлов Кьяндский.

Исправляющий должность псаломщика Иван Осипов Беляев.

Документ преинтереснейший. Прежде всего, речь в нём идёт о дате крещения младенца. В справке из Вологодского архива, которая была вручена в 1970 году петрозаводскому краеведу А. Грунтову, указывается: “В метрических книгах Коштугской церкви Вытегорского уезда за 1884 год значится: Николай, родился 10 октября, Коштугская волость (деревня не указана). Родители: отец – Алексей Тимофеевич, мать – Прасковья Дмитриевна. Справка выдана взамен свидетельства о рождении”. Составлена она именно на основании выписки о крещении, а поскольку дата крещения – 11 октября, архивисты решили, что рождение произошло днём раньше.

Не исключено, что так оно и было. Что повитуха Соломонида, не уверенная, что младенец выживет в лютый холод, окрестила его сама “в квашонке”. Для Ключева это крещение имело особый смысл – через погружение во хлеб свершилось его приобщение к плоти Христовой, ибо Христос – “Хлеб жизни” по Евангелию от Иоанна. На Русском Севере хранился также обряд перепечения – плачущего и болеющего ребёнка трижды засовывали в тёплую русскую печь с присказкой: “Перепекаем подмена, выпекаем русака”, после чего ребёнок считается как бы заново родившимся. При этом присутствовал самый маленький ребёнок в доме, способный стоять на ногах. К этому времени в доме уже были два маленьких ребёнка – сестра и брат, трёхлетняя Клавдия и двухлетний Пётр. Он-то, возможно, и присутствовал при обряде. Самая старая женщина должна была, привязав младенца к хлебной лопате, трижды засунуть его в печь, что и досталось Соломониде. Только в печи младенец побывал не на лопате, а в той же квашонке.

А когда опасность миновала и стало ясно, что будет ребёнок жить, понесли его родители из избы, что стояла в одной из деревень Коштугского прихода, в Сретенскую церковь, которая с 1720 года окормляла местных жителей.

Этот факт крещения Николая в местной церкви по-своему удивителен, если мы внимательно прислушаемся к его рассказам о “праотцах” и о семье.

* * *

“Душевное слово, как иконную графью, надо в строгости соблюдать, чтобы греха не вышло. Потому пиши, братец, что сказывать буду, без шатания, по-хорошему, на память великомученицы Параскевы, нарицаемой Пятницей, как и мать мою именовали”.

Так и записывал “душевное слово” за Николаем Ключевым его “сопостник и сомысленник” Николай Архипов в 1924 году в Петрограде:

“Господи, благослови поведать про деда моего Митрия, как говаривала мне покойная родительница.

Глядит, бывало, мне в межбровья взглядом неколебимым, и весь облик у неё страстотерпный, диавола побеждающий, а на устах речь прелестная:

– В тебе, Николаюшка, аввакумовская слеза горит, пустозерского пламени искра шает. В вашем колене молитва за Аввакума застольной была и праотческой слыла. Как сквозь сон помню, поскольку ребяческий разум крепок,

приходила к нам из Лексинских скитов старица в каптыре, с железной панатгией на персях, отца моего Митрия в правоверии утверждать и гостила у нас долго... Вот от этой старицы и живёт памятование, будто род наш от Аввакумова кореня повёлся...

И ещё говорила мне моя родительница не однажды, что дед мой Митрий Андреянович северному Ерусалиму, иже на реце Выге, верным слугой был. Безусым пареньком привозил он с Выгова серебро в Питер начальству в дареву, чтоб военных команд на Выгу не посылали, рублёвских икон не бесчестили и торговать медным и серебряным литьём дозволяли.

Чтил мой дед своего отца (а моего прадеда) Андреяна как выходца и страдальца выгорецкого. Сам же мой дед был древлему благочестию стеной нерушимой.

Выговское серебро ему достаток давало. В дедовском доме было одних окон 52; за домом сад белый, черёмуховый, тыном бревенчатым обведён. Умел дед ублажать голов и губных старост, архиереев и губернаторов, чтоб святоотеческому правилу вольготней было.

С латинской Австрии, с чужедального Кавказа и даже от персидских христиан бывали у него гости, молились пред дивными рублёвскими и дионисиевскими образами, писали Золотые Письма к заонежским, печорским и царства Сибирского христианам, укрепляя по всему Северу левитовы правила красоты обихода и того, что учёные люди называют самой тонкой одухотворённой культурой...

Женат мой дед был на Федосье, по прозванию Серых. Кто была моя бабка, от какого кореня истекла, смутно сужу, припоминая причеты моей родительницы, которыми она ублажала кончину своей матери. В этих причетах упоминалось о “белом крепком Нове-городе”, о “боярских хоромх перёных”, о том, что её

*Родитель-матушка не чернавка была дворовая,
Родом-племенем высокая,
На людях была учтивая,
С полами, дьяками была ровнею.
По заветным светлым праздничкам
Хорошо была обряжена,
В шубу штофную галунчату,
В поднизь скатную жемчужную.
Шла по улице боярыней,
А в гостибье государыней.
Во святых была спасеная,
Книжной грамоте учёная...*

Что бабка моя была, действительно, особенная, о том свидетельствовал древний Часовник, которого я неоднократно видел в детстве у своего дяди Ивана Митриевича.

Часовник был узорно украшен и вызолочен с боков. На выходном же листе значилась надпись. Доподлинно я её не помню, а родитель мне её прочитывала, что “книга сия Выгорецкого поселника и страдальца боярина Серых...”

Принято думать, что поздние рассказы Ключева о себе насквозь мифологизированы, и фактическая подоснова их крайне незначительна. Утверждать подобное можно, лишь предъявив документальные свидетельства обратного. А поскольку их нет, и по-хорошему говоря, им неоткуда взяться, остаётся лишь со вниманием выслушать самого поэта.

Итак: мать, Прасковья Дмитриевна – из староверческого рода (“родом я по матери прионежский”, – подчеркнул Ключев в автобиографии 1925 года), прадед Андрея – “выходец и страдалец выгорецкий”, дед Митрий – “северному Ерусалиму... верным слугой был”. “Северный Ерусалим” – Выговская Пустыня, основанная около 1695 года на реке Выг Повенецкого уезда Олонецкой губернии, духовный центр староверия, родина знаменитых “Поморских Ответов” Андрея и Семёна Денисовых.

“Приобщения нынешния российской церкви опасаемся, не церковных собраний гнушающаеся, не священныя саны отметающе, не тайнодействъ церковныхъ ненавидающе, но новинъ от никоновыхъ времянь нововнесенныхъ опасаемощеся, древлецерковныя заповеданья соблюдающе, да под древле-

церковные запрещения не попадем опасаемся, с новоположенными клятвами и порицаниями древлецерковного содержания согласиться ужасаемся... сего ради несми расколотворцы”.

Замечательный старообрядческий начётчик и историк старообрядчества Фёдор Евфимьевич Мельников в “Краткой истории древлеправославной (старообрядческой) церкви” сообщал редкие и малоизвестные факты жизни Выговской Пустыни: “Выговская Пустыня была знаменита не только как духовный центр, руководивший многочисленными приходами по всей России, но главным образом как просветительный центр... В Выговской обители существовала настоящая академия с преподаванием академических наук. Она выпустила длинный ряд писателей, апологетов старообрядчества, проповедников и других деятелей... Созданная здесь старообрядческая апологетика до сих пор имеет несокрушимое значение. “Поморские ответы”, заключающие в себе основы староверия, остаются неопровергнутыми. В вопросах старообрядчества за Выговской Пустыней пошла в XIX столетии и Московская духовная академия, на кафедрах которой читали свои лекции в старообрядческом духе профессора Каптерев, Голубинский, Белокуров, Димитриевский и другие. В Выговской Пустыне составлены тысячи сочинений на различные темы, преимущественно по старообрядческим вопросам”.

Что же до Выговского священства, то, как отмечает тот же Ф. Е. Мельников, “с течением времени “поморцы” стали не только фактическими беспоповцами (такowymi они стали после смерти прежних священников), но и идейными, ибо начали учить, что священство везде прекратилось, и неоткуда его достать. Тем не менее до сих пор они всё ещё живут верой в необходимость священства в церкви и требуют, чтобы таинства церковные и духовные требы отправлялись не мирянами, а духовными лицами. Своих наставников, отправляющих у них духовные требы, они признают не мирскими лицами, а священно-иерархическими, хотя они никем не рукоположены и никакого сана на себе не имеют”.

Гости “с латинской Австрии, с чуждедального Кавказа и даже от персидских христиан” — староверы из общин, рассыпанных по Европе и Азии, что образовывались после массового бегства за пределы России ревнителей древлего благочестия от лютых никонианских гонений. Особо обращает на себя внимание “латинская Австрия” — речь ведь идёт о знаменитой Белокриницкой метрополии в Буковине, принадлежавшей тогда Австро-Венгрии — духовном центре зарубежного старообрядчества. Староверческие общины поддерживали между собой тесную связь, как письменную, так и очную, дававшую и дополнительную крепость в вере, и ощущение непрекращающейся жизни в подонной, подлинной России, и дом деда Николая, Дмитрия Андреяновича, как можно предположить, был одним из узлов этой нервущейся нити.

“Бегство русских благочестивых людей, — пишет Ф. Е. Мельников, — началось вскоре же после Собора 1667 г., который догматически установил и закрепил в применении к ним всякое насилие и гонения, самые жестокие казни и убийства. Особенно же усилилось бегство за границу в Софьино правление, во время Иоакимова патриаршества, когда в России не было возможности русским людям хранить свою православную веру не только в городах и селениях, но даже в лесах и пустынях... Такое безвыходное положение принудило многих христиан того времени спасать свою святую веру и душу посредством самосожжений. Но другие находили иной выход, они бежали в соседние государства: в Польшу, Литву, Швецию, Пруссию, в Турцию, даже в Китай и в Японию, где пользовались полной свободой веры, за которую их никто не преследовал. Каково было количество бежавших, можно судить по сообщению Сената уже при Петре I: по сенатским сведениям, в то время русских людей находилось в побегах более 900 тысяч душ. В отношении к общему числу тогдашнего населения России это составляло десять процентов, а в отношении к исключительно русскому населению это количество бежавших составляло гораздо больший процент. Ни поляки, ни немцы, ни татары, ни другие инородцы, ни даже евреи не бежали тогда из России, ибо их тут никто и ни за что не преследовал и не притеснял. Преследовались и истреблялись исключительно только русские люди — самые преданные святой Руси, соль и твердыня Русской Земли.

Через два столетия, при большевистском разгроме России, повторилось это бегство за границу русских граждан. Но теперь количество бежавших со-

ставляло лишь один процент в отношении ко всему населению России, причём бежали не одни лишь русские люди, и бежали при других совершенно условиях: с военной силой, сражаясь с врагом, пользуясь железными дорогами, военными судами, пассажирскими пароходами и т. п., с большими передышками, нередко с победами над наступающим их врагом. Тогда же, при Софье, при Петре I, при Анне, при Николае I, было иное бегство, воистину христианское и подлинно евангельское, по примеру самого Христа и святых Его апостолов. Можно себе представить, какой это был страшный разгром России”.

Во второй половине XIX – начале XX века стали появляться в печати исследования по расколу – и их обилие, как и публикации староверческих книг, были словно предупреждением, знаком грядущих перемен, сломов и обвалов. Невидимая Россия, загнанная, запрещённая столетиями, с тяжкими потерями сохранившая старую веру, являла миру свой лик, и противиться этому явлению власть уже не могла.

* * *

“Старица из Лексинских скитов”, запомнившаяся Ключеву по рассказам матери, – пришлица из Пречестной обители девственных лиц Честного и Живоворящего Креста Господня, беспоповской обители, что на берегу реки Лексы в Олонецкой губернии, недалеко от Выговской пустыни.

После относительной свободы отправления богослужений по старопечатным книгам и хозяйствования, которую Выговская пустыня получила при Петре I (выговцы щедро одаривали царский дом плодами своего хозяйства и работали на построенных императором Повенецких заводах. Как писал тот же Ф. Е. Мельников в “Блуждающем Богословии”, вышедшем в 1911 году, “старообрядцы в своей родной стране всегда были в ином положении, чем иногородцы. Последние получали всякие подарки в придачу за совсем даровое крещение. Старообрядцы же сами дарили всем, что было у них, и всех, кому только охота была брать с них, чтобы только не совершали кощунства над ними и их детьми”), монастырь был сожжён дотла в 1855 году, в царствование нещадного гонителя староверов Николая I. Было уничтожено более пятидесяти моленных и часовен, а кладбища были перепаханы, и земля на их месте засыпалась солью. Маленькой Прасковье, будущей матери поэта, было тогда 4 года, и сказы своего отца об этой лютой гари она помнила всю оставшуюся жизнь. И, естественно, передавала младшему любимому сыну.

Гарь прошла и по семье. Дядя Прасковьи Дмитриевны – “дед Кондратий” – погиб в самосожженческом срубе с другими ревнителями древлего благочестия. Самосожжение повелось ещё с никоновских времён и усугубилось в иоакимовские, в эпоху царевны Софьи – и от чего спасались ревнители древлеправославия – живописал Фёдор Евфимьевич Мельников:

“Правительство беспощадно преследовало людей старой веры: повсюду пылали срубы и костры, сжигались сотнями и тысячами невинные жертвы – измученные христиане, вырезали людям старой веры языки за проповедь и просто за исповедание этой веры, рубили им головы, ломали рёбра клещами, закапывали живыми в землю по шею, колесовали, четвертовали, выматывали жилы... Тюрмы, ссыльные монастыри, подземелья и другие каторжные места были переполнены несчастными страдальцами за святую веру древлеправославную. Духовенство и гражданское правительство с дьявольской жестокостью истребляло своих же родных братьев – русских людей – за их верность заветам и преданиям святой Руси и Христовой Церкви. Никому не было пощады: убивали не только мужчин, но и женщин, и даже детей.

Великие и многотерпеливые страдальцы – русские православные христиане – явили миру необычайную силу духа в это ужасное время гонений. Многие из них отступились от истинной веры, разумеется, неискренне, не выдержав жестоких пыток и бесчеловечных мучений. Зато многие пошли на смерть смело, безбоязненно и даже радостно...

Древлеблагочестивые христиане не боялись смерти, многие из них шли на смерть весьма охотно и радостно. Но они скорбели, что немало христиан, не выдержав чудовищных пыток, отрекалось от святой веры и таким образом погибало душой. Доводили их до отречения от веры такими пытками: их или медленно жгли на огне, или выматывали жилы из них, или сначала отсекали

одну руку, потом другую, затем одну ногу и, наконец, другую ногу (это значит — четвертовали), подвешивали за рёбра к потолку или особой перекладине и оставляли так висеть долгое время — до отречения или до смерти, подвешивали и на вывернутые назад руки, колесовали, зарывали в землю по шею живыми; пытали и мучили и всякими другими убийственными средствами. Кто мог выдержать эти драконовские пытки? Чтобы спастись от них и чтобы сохранить свою веру, русские люди вынуждены были сами себя сжигать. “Нет нигде места, — говорили они, — только уходу, что в огонь да в воду”. Во многих местах, куда ожидалось гонители, сыщики и мучители, заранее приготавливались срубы для самосожжения или приспособлены были к этому отдельные избы, часовни, церкви, просмоленные и обложенные соломой. Как только получалось известие, что едут сыщики и мучители, народ запирался в приготовленное к сожжению здание и при появлении гонителей заявлял им: “Оставьте нас или мы сгорим”. Бывали случаи, что гонители уезжали, и тогда народ избавлялся от самосожжения. Но в большинстве случаев преследуемые самосжигались. Сгорали люди сотнями и тысячами зараз. Такое необычайно страшное время переживали тогда русские благочестивые люди. Многие из них ожидали конца мира, некоторые, надев саваны, ложились заранее в гроб, ожидая архангельской трубы с небес о втором пришествии Христовом”.

Во второй половине XIX века староверов уже не предавали таким лютым пыткам, как в конце XVII, но преследования их в тех или иных формах, то ослабевающая, то усиливаясь, не прекращались, что вызывало ответную реакцию и естественную ненависть и к Синоду, и к Дому Романовых. Свою характеристику раскола дал в 1881 году обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев в письме к Е. Ф. Тютчевой, дочери великого русского поэта: “Раскол у нас прежде всего — невежество, буква — в противоположность духу, а с другой стороны — хранилище силы духовной под дикой, безобразной оболочкой. Снять эту оболочку — значит добыть великую силу для Церкви, и Церковь мало-помалу добывает её, ибо лучшие люди из раскола переходят к нам... Но вместе с тем раскол есть у нас, теперь в особенности, политическая партия, и весьма опасная. Опасная — по милости непрошенных адвокатов и защитников, людей, не имеющих ничего общего с верой и Церковью. Простые люди из раскола и не подозревают, что во главе их становятся — с одной стороны, мужики-кулаки, преследующие личные свои цели властолюбия и своекорыстия, с другой стороны — журналисты... Кто вопиет о свободе раскола? Люди, не скрывающие своих задних мыслей — произвести смуту и бросить в народ демократические тенденции. Они возводят в идеал основное учение раскола, что наша Церковь признанная и утверждённая есть Церковь незаконная, и что власти законной, как церковной, так и гражданской, уже нет”.

Через три года, в год рождения Николая Клюева, “Церковный вестник” характеризовал старообрядцев как “какое-то особенное общество — антицерковное, антиобщественное, способное ко всему самому зловредному”. Были откровения и похлеще, вроде того, что зафиксировал Василий Розанов в “Апокалипсической секте”: “Да, они правы... Там филологически и исторически — не спорю... Но в них живёт сатана и их надо распять. Я сам наблюдал старообрядца, входившего в алтарь в ихней моленной: шёл, понуря очи, с таким благочестивым, постным лицом, точно в нём душа кончается. Он меня не видел, а я стоял так, что мне было видно его, когда он скрылся от глаз народа за алтарную стену. Тут он вдруг щёлкнул пальцами и подпрыгнул. Масленица после поста. Пост они держат на виду у нас, православных, а в душе у них масленица. Масленица оттого, что Никон был, конечно, невежда, а филологически и всячески по истории — они правы: и вот они и стоят перед нами с истинно каинскою жаждою убить, задушить... И за это их проклятое чувство я хотел бы их сжечь”.

“Зловредные” же староверы всеми силами старались противиться соблазну облегчения жизни, избавления от унижительных ограничений ценой отречения от веры праотцев. Некоторые — “лучшие”, по определению Победоносцева, не выдерживали.

Уничтожение центров старообрядчества на Керженце, на Иргизе, на Ветке, в Стародубье в эпоху Николая I вызывали в памяти у староверов самые лютые гонения времён Никона и царевны Софьи. И многие из ревнителей древнего благочестия с радостью шли в огонь, повторяя про себя слова огнепального протопопа Аввакума: “По се время безпрестани жгут и вешают

исповедников Христовых. Они, миленькие, ради пресветлыя, и честныя, и вседетельныя... и страшныя Троицы несётно пуще в глаза лезут; так же и русаки бедные, пуска глупы, рады: мучителя дождались, — полками во огонь дерзают за Христа, Сына Божия, Света. Мудры блядины дети греки, да с варваром турским с одново блюда патриархи кушают... курки. Русачки же миленькия не так, — во огонь лезут, и благоверия не предают... овых еретики поджигают, а инии, распалшеся любовию и плакав о благоверии, не дождавсся еретического осуждения, сами во огонь дерзнувшее, да цело и непорочно соблюдут правоверие, и сожегше своя телеса, душа же в руце Божии предаша, ликовствуют со Христом вовеки веком, самовольны мученички, Христовы рабы. Вечная им память вовеки веков. Добро дело содеяли — надобно так. Рассуждали мы между собою и блажим кончину их. Аминь”.

Уже в 1860 году 15 человек в Волосовском приходе Каргопольского уезда Олонецкой губернии добровольно пошли в огонь. Оставив недалеко от места самосожжения мешочек с тетрадью, где было начертано: “Лучше в огне сгореть, чем антихристу служить и бесами быть”.

Те, кто не имел силы принять “огненное крещение”, старались хоть мытьём, хоть катаньем, сохранить свою веру, и себя, и своих близких. И не удивительно появление в клюевском доме “старицы из Лексинских скитов”, от которой “живёт памятование, будто род наш от Аввакумова корня повёлся”. Правда ли, нет ли — не определишь. Но — убедила в этом старица Прасковья Дмитриевну, убедила во укрепление духа, и напомнила, наверное, ещё раз о праотцах, твёрдых и негибаемых в вере. А уж Прасковья Дмитриевна укрепляла сына. “В тебе, Николаюшка, аввакумовская слеза горит, пустозёрского пламени искра шает...”

С детства уверовав с материнских слов в древнюю родословную, можно было уже без сомнения и, не оглядываясь ни на каких скептиков, сообщать в письменной автобиографии: “До Соловецкого страстного сидения восходит древо моё, до палеостровских самосожженцев, до Выговских неколебимых столпов красоты народной”.

А теперь обратимся к первым автобиографическим записям поэта от 1919 года и прочитаем там о его матери:

“...Родительница моя была садовая, а не лесная, во чину серафимовского православия. Отроковицей видение ей было: дуб малиновый, а на ней птица в женчужном оплечье с ликом Пятницы-Параскевы. Служила птица канон трём звёздам, что на богородичном плате пишутся; с того часа прилепилась родительница моя ко всякой речи, в которой звон цветёт знаменый, крюковой, скрытный, столбовой... Памятовала она несколько тысяч словесных гнёзд стихами и полууставно, знала Лебедя и Розу из Шестокрыла, Новый Маргарит — перевод с языка чёрных христиан, песнь искупителя Петра III, о христовых пришествиях из книги латинской удивительной, огненные письма протопопа Аввакума, индийское Евангелие и многое другое, что потайно осоляет народную душу — слово, сон, молитву, что осолито и меня до костей, до преисподних глубин моего духа и песни...”

Коштугский приход Олонецкой губернии был одним из центров старообрядцев-беспоповцев филипповского согласия. К началу 1890 годов они были практически вытеснены из этого района, но это совершенно не значит, что их влияние хоть как-то ослабло. Само беспоповство уже издавна было разделено на множество течений и ответвлений, но “Серафимовское православие” — нечто совершенно особое. Эта секта была основана в 1870-х годах в Псковской губернии ризничим Никандровой пустыни монахом Серафимом, как об этом повествовал в 1889 году в “Церковном вестнике” неизвестный автор, излагая историю секты и основы верования сектантов: “Заметив, что простой народ, особенно женский пол, умиляется стройным пением, он завёл певческий хор из девиц и стал водить его с собою по деревням. Народу это понравилось. Серафим завёл подобные хоры в селениях... Толпы его почитателей бродили за ним по деревням, когда ему случалось бывать там с иконою; они во множестве, оставляя обычные работы, стекались к нему и в монастырь, желая очистить пред ним свою совесть таинством покаяния или получить от него духовное наставление. Серафим вообразил, что он действительно есть избранный Божий, и сделался лжеучителем, даже основателем новой секты”.

Будучи не в состоянии ужиться с новым настоятелем, Серафим ушёл из монастыря, скрывался в лесах на севере Порховского уезда и, в конце концов,

был найден, взят под стражу и заключён в петербургскую тюрьму. Однако влияние его не уменьшилось, а количество “духовных чад” всё росло. “Учеников Серафима открыли не только в Порховском уезде, в окрестностях Никандрова монастыря, но и в других уездах Псковской губернии: новоржевском, островском и псковском... Письменного изложения учения Серафима нет. Некоторые сведения об учении Серафима собраны при розысках по случаю побега его из монастыря. По этим сведениям лжеучение Серафима состоит в следующем: истинного христианства в настоящее время нет нигде; в мире теперь *смад* и *духота* от нечестия людей; скоро наступит второе пришествие Христово; антихрист уже живёт в мире, и ему покорились все благородные и учёные люди... Ученики Серафима уже не раз назначали и день второго пришествия Христова, приготовлялись к нему переменою одежды, взаимным прощанием, получением благословения от больших матушек и отпущения грехов. Проходил благополучно назначенный день, и матушки говорили: “Это случилось по нашим молитвам, чтобы иметь время убедить прочих к единомыслию с нами”. ...Последователи Серафима во все воскресные и праздничные дни усердно посещают православные храмы, поют с причетниками на клиросе, исповедуются и приобщаются св. таин в посты. Но при всём этом они говорят, что священникам не нужно верить, потому что они *врата ада* и что в них *ересь*... Во время своих собраний они читают акафисты, поют разные ими же составленные духовные песни, употребляют при этом разные музыкальные инструменты, приобщаются просфорю, разделяя её на мелкие части и влагая их в чашу, наполненную красным вином. В песнях серафимовцев выражается их печальное настроение: эти песни мрачны и унылы; в них высказывается недовольство своим положением на земле и желание как можно скорее освободиться от него в надежде лучших благ. Мрачное настроение духа они выражают и во внешнем своём виде, особенно женщины. Они обыкновенно покрываются тёмными платками, одеваются в тёмные платья и кофты. Такое мрачное настроение между серафимовцами потому особенно удивительно, что между ними преобладает молодая возраст”.

И всё же сильное сомнение закрадывается в справедливости слов Ключева, который отнес вероисповедание своей матери к серафимовскому православию. Дело в том, что члены серафимовской секты принимали на себя обязательный обет безбрачия: “Холостые не женитесь, женатые разженитесь”. К ключевской семье он неприменим. Речь, скорее, о другом – о знакомстве Прасковьи Дмитриевны с серафимовцами и о вынесенных в материнской памяти сектантских гимнах, на исполнение которых она была большая мастерица.

“Несколько тысяч словесных гнёзд стихами”, что “памятовала” Прасковья Дмитриевна, по словам Ключева, – огромный массив песенного северного фольклора, доступный ей, – плачье и песельнице. “Нигде так не сбереглись эти отголоски старины, – писал Павел Иванович Мельников (Андрей Печерский) в своём знаменитом романе “В лесах”, что был одной из любимейших книг Ключева, – как в лесах Заволжья и вообще на Севере, где по недостатку церкви народ меньше, чем в других местностях, подвергся влиянию духовенства. Плачье и вопленицы – эти истолковательницы чужой печали – прямые преемницы тех вещей жён, что “великими плачами” справляли тризны над нашими предками. Погребальные обряды совершаются ими чинно и стройно, по уставу, передаваемому из рода в род... Одни плачи поются от лица мужа или жены, другие от лица матери или отца, брата или сестры, и обращаются то к покойнику, то к родным его, то к знакомым и соседям. И на всё свой порядок, на всё свой устав... Таким образом, одновременно справляется двое похорон: одни церковные, другие древние старорусские, веющие той стариной, когда предки наши ещё поклонялись Облаку ходячему, потом Солнцу высокому, потом Грому Гремучему и Матери Сырой Земле”.

При том, что в семье хранятся все предания, все заветы староверчества, и “Житие” Аввакума, и “Поморские ответы” – настольные книги (“Раскол бабами держится, – писал тот же П. И. Мельников, – и в этом деле баба голова, потому что в каком-то писании сказано: “Муж за жену не умолит, а жена за мужа умолит”) – немало в доме и “отреченных” книг, тайных, чернокнижью принадлежащих. Здесь и “Шестокрыл” итальянского еврея Эммануэля бар-Якоба, составленный из шести крыл – хронологических таблиц иудеев (описание книги было издано в 1887 году). Здесь и “Новый Маргарит”, составленный Андреем Курбским, и скопческие величальные песни о Петре Искупителе...

В “Песни о великой матери”, писавшейся на рубеже 20–30-х годов, этом дивном эпическом сказании о праотцах, предках, духовных наставниках и о матери (во многом по её рассказам), Ключев воссоздаёт “круг” своего домашнего чтения:

*Двенадцать снов царя Мамера
И Соломонова пещера.
Аврора, книга Маргарит,
Златая Чепь и Веры Щит,
Четвёртый свиток Белозерский,
Иосиф Флавий — муж еврейский,
Зерцало, Русский виноград, —
Сиречь Прохладный вертоград,
С Воронограем список Вед,
Из Лхасы шёлковую книгу
И гороскоп — Будды веригу —
Я прочитал в пятнадцать лет.*

Здесь, уже в поэтическом тексте, добавляется “Сказание о двенадцати снах царя Мамера” в русском переводе с персидского, эсхатологическое толкование снов о конце мира и пришествии антихриста, бытовавшее в старообрядческой среде; добавляется “История иудейских войн” Иосифа Флавия (выдержки из неё присутствовали и в “Цветнике странническом” — культовой книге старообрядцев-бегунов), “Виноград российский” Семёна Денисова — ещё одна культовая книга староверов, “Аврора” Якова Бёме, Веды, китайский гороскоп... Ясное дело: поэма — не документальное свидетельство и даже не автобиография. Ну как тут не скажешь — всё придумал, всё сочинил, сам читался со временем, а мать-то тут при чём?

При том, что семья Ключева была книжной семьёй, как издавна велось у староверов. “Старообрядцы, — писал Ф. Е. Мельников, — в общей своей массе были всегда грамотнее и культурнее никонианской массы. Николаевская эпоха особенно ярко отличалась этим различием. В то время были созданы в каждой губернии особые комиссии для обследования умственного состояния местного населения. Весьма показательны обследования Нижегородской комиссии: “Подъезжаем, — пишут члены комиссии, — к селу, спрашиваем название его. “Василевы”, — отвечают.

— Кто живёт? — Раскольники. — Грамотные есть? — Все грамотны.

И, действительно, оказывается, сплошь грамотны. Едем дальше.

— Что за деревня? — Сукино. — Кто живёт? — Православные. — Есть грамотные? — Один деревенский писарь. И так — по всей губернии”, — удостоверяет губернская комиссия”.

Это было, естественно, не в одной нижегородской волости. На Севере издавна установилось истовое отношение к книге, как к священному дару. С Выгова повелось, от Соловецких старцев. И не только к рукописным книгам, не только к старым спискам “Жития” и “Посланий” Аввакума, к книгам “отреченным”, но к новым изданиям тех же аввакумовских сочинений или “Истории Выговской старообрядческой пустыни” Ивана Филиппова, вышедших уже в государственных типографиях при Александре II.

“По тропинкам, что нам не знакомы”, как пелось в одной старой песне, шли староверы и сектанты разных толков к своим единоверцам, передавая из рук в руки, из общины в общину “отреченные” книги и “отреченные” списки. Рукописи и старопечатные книги ходили по рукам, доставлялись учёными скрытниками — и их собственные сочинения, и “История об отцах и страдальцах Соловецких”, и “Виноград российский”, и жития наставников Выга, и рукописные сочинения староверческого идеолога и писателя Игнатия, доказывавшего правомерность и угодность Богу “самоубийственных” смертей во время гонения на веру, а также скрытнический “Цветник” старца Евфимия... Разные списки приносили с собой и “бегуны”, для которых само государство было “от антихриста”. “С Воронограем список Вед” не случаен в ключевской биографии. И хоть далеко ещё до первых стихотворных подступов к “Белой Индии”, а уже слышано и позднее читано, как великий бог Индра разделил своей властью небо и землю, надев их, как два колеса, на невидимую ось, что укреплена в небе Полярной звездой (“нерушимой, неколебимой” — Дхру-

вой). И слушано предание о том, что в незапамятные времена здесь, на Севере, родились эти сказания, на благодатной земле, хранящей множество удивительных тайн.

*Северная часть земли всех других чище, прекрасней,
Живущие здесь, там возрождаются добродетельные люди,
Когда, получив (посмертные) почести, они уходят...
Когда взаимно друг друга пожирают полные
Жадности и заблужденья,
Такие возвращаются здесь и в Северную страну не попадают...
Ты — год и его времена, месяц и полумесяц,
Ты — круги мировых времён, лунные четверти...
Ты — вершины деревьев, горные утёсы...
Из океанов — Молочный Океан.
Лук — из орудий, из оружий — Перун,
Из обетов — правда.*

* * *

Олонецкая губерния оставалась своего рода чудодейственным краем ещё долгое время. В. Копятевич писал в “Известиях общества изучения Олонецкой губернии” уже в 1914 году: “Олонецкий край... дорог в особенности тем, что в нём не только приходится собирать остатки старины. Нет, в нём много ещё таких уголков, живя где чувствуешь себя перенесённым на несколько столетий назад. Здесь оживает старина. Здесь сведения о прошлом, переплутые из книг, воспринятые в искусственной обстановке музеев, перестают быть спокойным завоеванием холодного ума. Они начинают чувствоваться вами, старина охватывает вас, как живая жизнь, вы всем существом своим начинаете понимать, ощущать, что то, что было, было действительно и так же реально, как то, что вы наблюдаете сейчас, вы начинаете проникать в самую психику старины, вы начинаете угадывать многое, и то, что вам казалось простым и ясным, вдруг приобретает особый смысл, получает особое значение. Да и может ли быть иначе, если и теперь, в глуши Пудожского, например, уезда, можно услышать старых слепых “сказителей” былин, которые своим выразительным речитативом расскажут о подвигах давно знакомых богатырей и малознакомого даже нам, олончанам, местного пудожского богатыря Рахты (Рахов, Раги) Рагнозерского, обрисуют этих богатырей в обычной обстановке той повседневной жизни, которую вы видите собственными глазами, живя в деревне. Вы услышите новые, неожиданно всплывшие из глубокой старины слова, каких не знает современный лексикон, но с которыми вы встречаетесь на страницах исторических актов, относящихся к XVI—XVII веку или даже более раннему времени. В Повенецком уезде вы можете вдруг очутиться около какой-нибудь развалившейся часовни или около скромного крестика, и местный старик-крестьянин вам расскажет, что более 200 лет тому назад здесь было самосожжение раскольников, и при том картинно опишет, как “гарщик” собирал народ на сожжение, как обрекшие себя на смерть запасались сеном, смолою, как молились перед смертью, и всё это так, точно дело происходило на днях, и он сам был очевидцем рассказываемого. Вам укажут на доживающие последние дни обветшавшие, опустелые старообрядческие часовни и церкви, расскажут о былом величии этих мест, заставят почувствовать ту трагедию, которая разыгрывалась здесь когда-то в борьбе между старой и новой, не всегда правой Россией... И часто-часто на пространстве всего Олонецкого края вы будете встречаться с такими патриархальными нравами, с такою примитивностью и непосредственностью отношений, каких никогда не встретить в более затронутых культурой местах... И если к этому присоединить ту рамку, в которую вставлена жизнь современной Олонецкой деревни, — дремучие, суровые леса, повсюду разбросанные озёра, строгое северное небо, завыванье зимних метелей, вы поймёте, почему вдруг у вас начнут звучать совершенно иные, обычно далеко спрятанные душевные струны. Поживите в деревне в каком-нибудь глухом залестье Пудожского или Повенецкого уезда, приглядитесь, придумайтесь к деревенской жизни — вы почувствуете себя не в XX, а в каком-нибудь XVI столетии, среди чернососных крестьян,

несущих своё тяжёлое тягло, живущих своеобразной жизнью, говорящих на своём ярковыразительном языке, проникнутых своими особыми взглядами, нравами, устоями. Вы почуваете дух бывшего господина Великого Новгорода, посылавшего сюда сынов своих заселять обширный незнакомый край. Вы начнёте понимать перегибы и переливы жизни и народной души”.

А ещё раньше в петроградском “Аполлоне” в 1912 году совершенно экзотически описывал “тайную красоту” Севера Д. Пинегин: “...Север — стыдливая красавица, умилённая келейница, — лицо своё кажет неохотно... Мужик северный каждый год видит смерть близко, и в этой близости крепнет его суровый и живой дух. Художество северное под стать человеку — берёзовые туесы раскрашены зелёными, ярко-синими цветами, по красному полю бежит, лихо раскинув ноги, кофейный конь; всё ярко, всё горит, — даже лопины наряд свой красной тесьмой обшивают. Помор любит всякую затейщину — у него и сказки такие, с приговьями, с прибапулочками; порой даже честная старика какому-нибудь почтенному собирателю такую досюльщину выложит, что тот и записывать перестанет, — долго ему не прочихаться от поморской крепкой речи. За новизной там не очень гонятся — всё те же три сына, Баба-Яга, леший колоброд и иная нечисть... Недаром на севере крепка и старая вера — там любят слово хитросплетенное, застывшее навеки в нерушимой, святой красоте. Недавно мне рассказывали про одну старушку: придёт она домой после двенадцати евангелий, сядет, усталая, чай пить, прошепчет “исшедь вонь плакася горька”, и сама заплачет. Особенная сила есть для неё в древних привычных словах; так и помор — если следить строгий, неизменный словесный ход северной сказки, то вспомнишь неумолимое и страшное “умрём за единый азь”.

Видно по северным сказкам, что недаром поморы много между лопинами ходят. Народ загадочный, колдовской — дикая лопь; до сих пор ещё живут лопские колдуны — нойды, к ним всё ещё ходят люди в беде и страхе; до сих пор ещё целы каменные вавилоны — странные, неведомые ходы, сложенные неизвестно кем в пустынной тундре. В таком соседстве, не шутя, говорят о власти колдунов и мертвецов, не шутя их боятся и сказки о них почитают бывальщиной...

Мы счастливы тем, что родную нашу старину можем видеть не в лавке старьёвщика, толстых томищах историка или присяжного собирателя, а ещё живую — в северных сёлах, на великих реках — Печоре или Северной Двине, на богатом Поморье, иноческой Печенге и далёкой Пазе, у норвегов. Тот, кто раз испытал эту власть живого слова, тот знает, какая в этой купели благодать. Тайна слова вручена народу; к этой тайне надо идти, потому что слово — сущность всего, потому что “вся тем быша и без него ничтоже бысть, еже бысть”. (Есть устойчивое подозрение, что писалось это сочинение не без воздействия клюевских рассказов в кругу писателей, свивших себе гнездо в “Аполлоне” к этому времени.)

Для старовера сожжение Аввакума, основание Выговской обители, Соловецкое страстное сидение — это не история. В контексте Большого Времени, вбирающего в себя микрокосм отрезка в человеческую жизнь, — это всё было вчера. Вчера Андрей Денисов в полемике с монахом Неофитом слагал “Поморские ответы”. Вчера же Семён Денисов тосковал по Выговской пустыне, будучи в заключении в Великом Новгороде: “Аще забуду тебе, Иерусалиме, аще забуду тя, святыи дом, преподобное вкупожительство, забвена да будут пред Господом благожелания моя!...” И вчера же Иван Филиппов пел величальный гимн Святой Руси в “Истории Выговской пустыни”: “Я же российская украшающее златоплетенно пределы, земная совокупляху с небесными, человеки российские с самим Богом всепредсладце соединяю...”. Через два десятка с лишним лет, уже в изменившейся почти до неузнаваемости России и в совершенно иной жизни, Клюев напишет в только что начатой “Погорельщине”:

*Отец “Ответов” Андрей Денисов
И трость живая — Иван Филиппов
Сузёмок пили, как пчёлы липы.
Их чёрным мёдом пьяны доселе
По холмогорским лугам свирели,
По сизой Выге, по Енисею
Седые кедры их дымом веют...*

Александр Алексеевич Михайлов, известный критик и литературовед, сам выходец с Поморья, рассказывал, что ещё в конце двадцатых годов в сорока вёрстах от деревни Куя на “городище”, где некогда стоял Пустозёрск (там сейчас голый пустырь) на месте сожжения Аввакума можно было видеть “пёнышки” – остатки столбов, к которым были привязаны огнепальный протопоп и его единовверцы... На это святое для каждого старовера место, к осьмиконечному кресту приходили паломники и возносили молитвы за своего “батюшку”... Та трагедия не вспоминалась – она переживалась заново, как творящаяся в новом времени и с новым поколением.

Удивляться здесь не приходится. Современный исследователь Б. Кокорин в работе “Старообрядческое понимание жизни” пишет, что “старообрядец постоянно живёт мыслью о вере. Он горит этой мыслью, и она его никогда не оставляет... Общим и основным типом старообрядчества остаётся горение о вере, стремление жить по-Божьи, постоянное памятование, что он – член церкви, пусть и невидимой, таинственной, и поэтому обязан знать и, по мере возможности, исполнять церковные законы...”

Старообрядец перенёс церковность в свой домашний быт, сделал её спутником своей жизни, окружил ею себя, как воздухом. Он церковен всюду, и церковность для него является руководящим принципом. Пусть старообрядец очень мало говорит о нравственных идеалах, о нравственном совершенствовании, о богоискательстве в современном духе и смысле, он знает книгу Псалтырь, а в ней изложены все законы нравственного совершенствования человека полно и ярко. Знает также он много житий святых, а ведь эти жития являются прообразами наиболее чистых людей; они – сокровищница высшей любви и высшей нравственности. В знании церковных песнопений старообрядец никому не уступит, а в них глубина человеческой мудрости...

Среди старообрядцев, особенно в беспоповских согласиях, много таких, которые буквально по целым годам не бывают в молельных своего согласия, по отсутствию их в близком расстоянии. Они поют и читают дома. Многие из них совершают полную службу, в известные дни и часы дома их превращаются в молельную, в храм. И это явление не исключительное, а общее. Здесь церковность воплощается в самой жизни. Это и является отличительной чертой старообрядчества, чего новообрядчество лишено”.

Так обстоит дело сейчас – также оно обстояло и сто лет назад – в начале прошлого века, когда у старших поколений ещё живы были в памяти керженские и выговские гари, когда в молельную превращалась не только крестьянская изба, но и опушка близлежащего леса или берег близлежащей реки, когда весь окружающий русский мир мнился храмом старого обряда.

Более того, в связи с традицией поморских беспоповских общин, где пересказывались и комментировались стихи Евангелия и Жития Святых, – возникли рассказы о Богоматери, замерзавшей среди сугробов, о хождении Иисуса Христа по земле русской. Д. Успенский в статье “Народные верования в церковной живописи”, опубликованной в 1906 году, писал: “Нередко рассказчики точно указывают, от какой деревни до какой в известный момент было совершено путешествие, на каком именно месте произошло данное событие. Я помню, на моей родине один старик показывал, например, даже дерево, кривую старую осину в глухом месте большого казённого леса, на которой давился будто бы предатель Христа – Иуда”.

... Старое самоцветное русское слово, старые иконы, с которых грозно и пристально взирают неземные очи, старые книги с тяжёлыми переплётами, разукрашенными финифтью, дивные сказки и дивное материнское пение...

В такой атмосфере и росли дети Прасковьи Клюевой, этим воздухом были пропитаны стены их дома, живая старина была бытом, древние дониконовские иконы и старопечатные книги – домашними университетами. И хотя нельзя семью причислить в полном смысле этого слова к черносотным крестьянам – источником существования была государственная, а потом и торговая служба главы семейства Алексея Тимофеевича Клюева – труд на земле также был знаком и родителям, и детям.

... Крестив сына, как и его брата и сестру в новообрядческой церкви (сохраняя себя, иные староверы уже в отношении своих детей избирали определённую линию поведения, дабы не калечить им жизнь), мать пела ему старины (Русский Север к середине XIX века оставался единственным в империи хранителем былин Новгородской и Киевской Руси), древние плачи и колыбель-

ные, сектантские гимны, обучала читать по Часовнику. “Посадила меня на лежанку, — вспоминал Николай, — и дала в руку творожный колоб, и говорит: “Читай, дитячко, Часовник и ешь колоб и, покуль колоба не съешь, с лежанки не выходи”. Я ещё букв не знал, читать не умел, а так смотрю в Часовник и пою молитвы, которые знал по памяти, и перелистываю Часовник, как будто бы и читаю. А мамушка-покойница придёт и ну-ка меня хвалить: “Вот, говорит, у меня хороший ребёнок-то растёт, будет как Иоанн Златоуст”. (Понятия о нейролингвистическом программировании тогда не было, но стиль воздействия матери на сына может характеризоваться именно этим термином.)

И не только книжной премудрости обучала Николая мать.

Сложная и многослойная атмосфера влияла на него непосредственно в домашних стенах. Потайные книги и письма, общение матери со странниками и страницами различных толков, её — песельницы и вопленицы — плачи и былины настраивали душу на особый музыкальный лад. Последыш Николай, судя по всему, был её любимым ребёнком, и, видя в нём “будущего Иоанна Златоуста”, — она посвящала его уж в совершенно тайные стихии, внятные ей самой.

Вспомним ещё раз архиповскую запись клюевских слов 1919 года: “Отроковицей видение ей было: дуб малиновый, а на нем птица в женчужном оперенье с ликом Пятницы-Параскевы. Служила птица канон трём звёздам, что на богородичном плате пишутся; с того часа прилепилась родительница моя ко всякой речи, в которой звон цветёт знаменный, крюковой, скрытный, столбовой...” Сказочная речь — но ведь той же речью мать рассказывала сыну о постигшем её видении. И то, что в этом видении ей явилась “птица... с ликом Пятницы-Параскевы”, — целительницы телесных и душевных недугов — на “дубе малиновом”, на верхушке “мирового древа”, — говорит не только о её неземной покровительнице, хранящей Прасковью на этой земле, но и о том, что ей, матери будущего поэта, были открыты незримые области духа, открыты во благо, а не во зло. С чернокнижием Прасковья Дмитриевна, конечно, была знакома, но её, высокую строгую женщину, всегда одетую в чёрное, и пришлые, и односельчане воспринимали не как колдунью, а как ведунью. Тайна прошлого и ведовство нынешнего сплетались в сознании ребёнка едины.

“Слова” (заговоры), молитвы, пророческие сновидения — всё было в обиходе у Прасковьи Дмитриевны, и, наравне с рукописными и печатными книгами, питало ум и душу мальчика, судя по всему, рано ставшего приобщаться к магическим энергиям и поощряемого в этом матерью, выделявшей Николая среди других своих детей.

Исследователь традиционных мистических практик России, Константин Логинов настаивает на том, что Прасковья Дмитриевна не поделилась с сыном своим магическим даром. “Во-первых, — пишет он, — от матери к сыну (а равно от свёкра к снохе или от тётки к зятю) магический “дар” в Обонежье обычно не передавался. Причина тому — местная специфика обряда “передачи дара”: учитель и неопит обязаны были нагими предстать друг другу в полночь в бане. Учитель при этом сообщал слова самых главных заговоров “рот в рот”, “язык в язык” или же заплёвывал слова заговоров со своей слюной в рот восприемнику. (Так что клюевские строки “Тёплый живой Господь взял меня на ладонь свою, напоил слюною своей...” могли возникнуть не только как образное сравнение.) При более глубококом размышлении можно прийти к заключению, что об обряде передачи “магического дара” от Клюевой к её отпрыску не могло быть даже и речи, ибо Прасковья Дмитриевна (вспомним её видение-посвящение) свои паранормальные способности получила сразу как “дар Божий”, а не вследствие обряда восприятия “дара” от своего земного предшественника”.

Разными были способы передачи “дара”. Чаще всего магическое знание передавалось-таки по крови — от старшего к младшему, через взгляд или в форме особого ритуала (с обязательным “участием” воды) или во время совместной трапезы... И слова Клюева о “тёплом живом Господе”, что напоил его “слюною своей”, родились либо из земной жизни, либо из той реальности, что на грани с видением. Рискованно заходить за эту грань любому человеку, и любые предположения отдадутся глубоко личным, нешуточным риском, но нельзя не привести здесь стихи, написанные в 1922 году и посвящённые Николаю Архипову, тому, что записывал тогда же текст “Гагарей судьбины”, стихи, до по-

следнего времени неизвестные и лишь недавно найденные в архиповских бумагах Александром Ивановичем Михайловым.

*Помню мамины груди,
Мглу родимой подмышки,
На пёстром праздничном блюде
Утиный выводок — пышки.
Повадно зубам — волчатам
Откусывать головы уткам.
И знать, что под хвойным платом
Пора цвести незабудкам.*

Предположить здесь можно многое, но одно остаётся непреложным: дорожке родной матери, Прасковьи Дмитриевны, не было у Клюева женщины в жизни. И ещё одно: он, бесспорно, был наделён незаурядными магическими свойствами, что отмечали многие из его современников. И не просто наделён, а продолжал совершенствоваться как в юности, так и в зрелом возрасте.

Отец... Кажется, полная противоположность матери. Запасный унтер-офицер, полицейский урядник 4-го участка Шимозерской волости Лодейно-польского уезда, где начал служить в 1880 году (в том же уезде и появились на свет двое первых детей в клюевской семье). В 1896 году Алексей Тимофеевич Клюев числится уже владельцем дома в Вытегре на углу Преполовенской и Дворянской улиц. Выйдя в отставку, получает место сидельца винной лавки в Желвачёве, принадлежащей купцу Иосифу Великанову. Солидный, вполне земной, хозяйственный человек, умеющий считать каждую копейку и мечтающий вывести “в люди” своих детей... Но вот что вспоминал Николай о своём деде по отцовской линии:

“Говаривал мне покойный тятенька, что его отец (а мой дед) медвежьей пляской сыт был. Водил он медведя по ярманкам, на сопели играл, а косматый умняк под сопель шином ходил.

Подручным деду был Фёдор Журавль — мужик, почитай, сажень ростом: тот в барабан бил и журавля представлял.

Ярманки в Белозерске, в веси Егонской, в Кирилловской стороне до двухсот целковых деду за год приносили. Так мой дед Тимофей и жил — дочерей своих (а моих тёток) за хороших мужиков замуж выдал. Сам жил не на квасу да на редьке: по престольным праздникам кафтан из ирбитского сукна носил, с плюсовым воротником, кушак по кафтану бухарский, а рубаху носил тонкую, с бисерной накладкой по вороту. Разоренье и смерть дедова от указа пришли.

Вышел указ — медведей-плясунов в уездное управление для казни доставить...

Долго ещё висела шкура кормильца на стене в дедовой повалуше, пока время не стёрло её в прах... Но сопель медвежья жива, жалкует она в моих песнях, рассыпается золотой зернью, аукает в сердце моём, в моих снах и созвучиях...”

Постановление комитета министров “О запрещении медвежьего промысла для потехи народа” было принято 30 декабря 1866 года и разрешало ликвидировать медвежий промысел, начиная со следующего года, в течение пяти лет. Оно было принято по указанию Александра II, который счёл недопустимым, что в комических играх участвует зверь, чьё изображение стоит в гербе императорского дома.

Ещё позже Клюев рассказывал, что дед не повёл кормильца в управление, а, глотая слёзы, застрелил собственной рукой. И эта история отпечаталась в памяти будущего поэта не просто как семейное предание.

В Олонецкой губернии было распространено поверие, что “медведь — от Бога”. Доводилось Клюеву и сказку слышать в детстве, как старик попросил у волшебной липы выполнить желания своей жены. Попросила она сперва дров, затем много хлеба, а с каждой следующей исполненной просьбой её аппетиты всё разгорались и разгорались. В конце концов выпросила: сделай так, чтоб люди боялись меня и старика. Уважено было и это желание: споткнулся старик о порог, упал и превратился в медведя. И старуха, видя это, ударила об пол и тоже стала медведицей. Так были оба наказаны за своё честолюбие.

Медведь любит и нянчит своих детей, словно человек, он и радуется, и горюет, как люди, и человеческую речь понимает, и разумен, как человек. Олончане говорили, что собаки одинаково и на человека, и на медведя лают — не так, как на других существ. Ручных медведей водили вокруг деревни во исполнение обряда на будущий хороший урожай. И не велено медведю есть человека — если и нападает зверь, то в наказание Божеское за совершённый грех. А ещё медведь, бывает, уводит женщин к себе, чтобы жить с ними.

Так мать сказывала, и сохранила память Николая старое семейное предание о медведе, возжелавшем юную Парашу. И через много лет это предание воплотится в совершенной стихотворной форме в “Песни о великой матери” в начале 30 годов уже XX века. А в написанном еще ранее “Песни” “Каине” Клюев вспомнит о своём первом отчуждении от родительской любви, связанном с его собственной детской и ещё не противоположенной, но уже говорившей о роковом симптоме, любовью и о первой потере.

*...И в спальне дремали пята.
Кудахтал бисерный павлин,
Медыню, пряничным сусалом
Дышал в оконницу жасмин.
Но циферблатная кукушка
Прокуковала восемь лет.
Моя любимая игрушка —
По палисаднику сосед.
Ему часы накуковали
Уж полных десять, но влекло
Меня птенцом к барвинку — Але
Под голубиное крыло.
В нём чуялся павлиний гарус,
Подснежный ландышевый сон.
Любил он даль, стрельчатый парус,
Морей нездешних Робинзон.
Нам были взрослые чужими,
И первый поцелуйный гром
Наполнил чайками морскими,
Безбрежием родимый дом.
Нас потянуло к захолустью,
В чулан забытый, в глушь кустов,
И отрочество первой грустью
Вспугнуло маминых орлов.*

.....
*Напрасно звал на поединок
Я волны и медуз на дне,
Под серый камень лёг барвинок
Грустить о чайках и весне,
И с той поры, испив у трупа
Морской зелёной глубины,
Я полюбил холмов уступы
С ущербным оловом луны.*

.....
*А сказке под румяным клёном
Свивает саван листопад.
Самоубийственно влюблённым
Кладбище не откроет врат.
Их поминает по яругам
Гнусавым криком вороньё.
Я расплескал, как жизнь без друга,
Любви волшебное питьё.*

Эта поэма писалась уже после множества пережитых испытаний и тяжких потерь. Но именно тогда, в детстве, как вспоминал Клюев, любовь и смерть связались в его сознании неразрывным узлом. И удивительно ли, что, глядя на сына, становилась всё “печальней матушка”, как сказано в том же “Каине”.

...Родословная отца не меньше значит для Николая. Да и сам отец был фигурой незаурядной, если судить по впечатлениям от встречи с ним, отражённым в письме Сергея Есенина Клюеву, написанном уже летом 1916 года: “Приехал твой отец, и то, что я вынес от него, прям-таки передать тебе не могу. Вот натура – разве не богаче всех наших книг и прений? Всё, на чём ты и твоя сестра ставили дымку, он старается ещё ясней подчеркнуть, и только для того, чтоб выдвинуть помимо себя и своих желаний мудрость приемлемого. Есть в нём, конечно, и много от дел мирских с поползновением на выгоду, но это отпадает, это и незаметно ему самому, жизнь его с первых шагов научила, чтоб не упасть, искать видимой опоры. Он знает интуитивно, что когда у старого волка выпадут зубы, бороться ему будет нечем, и он должен помереть с голоду... Нравится мне он”.

Должность полицейского урядника – идеальное прикрытие для единоверцев, и любая информация о готовящихся антистароверческих акциях могла быть использована как для возможного пресечения иных карательных мер, так и для предупреждения “своих”. Судя по всему, Алексей Тимофеевич Клюев был в своём роде замечательным воплощением жизненного принципа “быть в траве зелёным, а на камне серым” (ставшим программной установкой и для Николая), и так, оставшись на своём месте “нераскрытым”, он, сидя позже в винной лавке (незаменимое место для тайных встреч и передачи всего нужного из рук в руки), к которой тропка всё ширилась и ширилась с годами, также создал в своём заведении своеобразное “место прикрытие”.

Но отца Клюев не упоминает ни в своих позднейших рассказах, ни в письменных автобиографиях. Судя по всему, творческие и духовные устремления и интересы младшего сына главе семейства оставались чужды. И едва ли отец был в восторге от того, что он вкладывала в сына мать. Помощь по хозяйству – да, это годится – и на покосе, и на приусадебном участке... Да и учиться надо, дабы в люди выйти. Две зимы ходит подросший Николай в сельскую школу, в Вытегре уже в 12 лет после переселения семьи в новый дом поступает в городское училище. Вытегорский старожил В. Морозов, сидевший с Николаем за одной партой, через много лет вспоминал, что его соученик выделялся “разными странностями”. Тут и удивляться нечему – новичок явно был “не от мира сего”. В 1922 году он так рассказывал о видениях, его посещавших:

“На тринадцатом году, как хорошо помню, было мне видение. Когда уже рожь была в колосу и васильки в цвету, сидел я над оврагом, на сугоре, такой крутой сугор; позади меня сосна, а впереди вёрст на пять видать наполисто...

На небе не было ни одной тучки – всё ровносинее небо... И вдруг вдали, немного повыше той черты, где небо с землёй сходится, появилось блестящее, величиной с куриное яйцо, пятно. Пятно двигалось к зениту и так поднялось сажен на 5 напрямки и потом со страшной быстротой понеслось прямо на меня, всё увеличиваясь и увеличиваясь... И уже когда совсем было близко, на расстоянии версты от меня, я стал различать всё возрастающий звук, как бы гул. Я сидел под сосною, вскочил на ноги, но не мог ни бежать, ни кричать... И это блиставшее ослепительным светом пятно как бы проглотило меня, и я стоял в этом ослепительном блеске, не чувствуя, где я стою, потому что вокруг меня как бы ничего не было и не было самого себя.

Сколько времени это продолжалось – я не могу рассказать, как стало всё по-старому, – я тоже не могу рассказать”.

Современные уфологи не могут не узнать в этом описании встречу земного человека с неопознанным летающим объектом, более того, его поглощение этим объектом с последующим возвращением на землю. Известия о странных явлениях на Севере уже тогда проникали в печать. Так, в начале апреля 1999 года ярославская газета “Северный край” опубликовала письмо, пришедшее из Архангельска: “28 марта в 8 часов 25 минут вечера над городом в северо-западном направлении медленно пролетел освещённый изнутри предмет, напоминающий воздушный шар. Освещённая часть шара представляла собой подобие электрической лампочки, то есть внизу была шарообразной, а сверху заканчивалась высокой трубой. Под освещённой шарообразной частью простым глазом различалось подобие лодки, но крайне не ясно, потому что в ту пору уже стемнело. Шар двигался очень медленно и находился значительно ниже облаков... Мы сразу же поняли, что имеем дело не с метеоро-

ром. Полёт странного предмета наблюдался нами около пяти минут, до исчезновения за горизонтом. Надо прибавить к сказанному, что в воздухе в этот вечер было совершенно тихо, а от шара исходил красноватый свет, подобный свету топящейся печи”. Автор письма называет свидетелей происшедшего — среди которых владелец булочной, служащие железной дороги, домохозяйки, при этом подчёркивая, что все они — “вполне интеллигентные лица”.

Для Клюева же (как и для его матери, с которой он не мог не поделиться пережитым) видение означало одно: наделиние подростка даром, приобретением его к неземным энергиям, к з н а н и ю. Ещё одно видение, описанное Клюевым, могло только укрепить его в сознании собственной избранности: “А когда мне было лет 18, я черпал на озере воду из проруби, стоя на коленях... Когда начерпал ушат, поднял голову по направлению к пригорку, на который я должен был подняться с салазками и ушатом воды, я ясно увидел на пригорке среди нежно-синего сияния снега существо, как бы следящее за мною невыразимо прекрасными очами. Существо было в три или четыре раза выше человеческого роста, одетое как бы в кристаллоподобные лепестки огромного цветка, с окружённой кристаллическим дымом головой”.

Что это было? Потустороннее видение или явление одного из “дивьих людей”, что возникали перед глазами неосторожных странников в центрах таинственных северных лабиринтов, что имели вид каменных спиралей?.. Был здесь и опасный соблазн: принять видение, посланное дьяволом, за Божественное откровение. Знала об этом соблазне Прасковья Дмитриевна. И дабы не впал в опасное искушение её любимец, отмеченный, как она полагала, особым даром, послала она его в Соловецкий монастырь на выучку к старцам... Много лет пройдёт, и уже в “Песни о великой матери” Клюев, смещая времена и события, выразит этот материнский позыв как боязнь за сына, соблазняемого сектантами и иноверами.

*Николенька, на нас мережи
Плетутся лапою медвежьей!
Китайские несториане
В поморском северном тумане
Нашли улыбчивый цветок
И метят на тебя, дружок!
Кричит ослица Валаама,
Из звездоликой Лхасы лама
В леса наводит изумруд...
Крадутся в гагачий закут
Скопцы с дамасскими ножами!
Ах, не весёлыми руками
Я отдаю тебя в затвор —
Под соловецкий омофор!
Открою завтра же калитку
На ободворные зады,
Пускай до утренней звезды
Входящий вынесет по свитку —
На это доки бегуны!*

Староверческая конфессия бегунов (или скрытников) — наиболее радикальное течение в старообрядчестве. Бегуны отрицали все государственные институты, как церковные, так и гражданские, будучи последователями старца Евфимия, создавшего своё учение в третьей четверти XVIII века. Они соznавали себя прямыми преемниками первых староверов, не признавших церковную реформу Никона и реформированную “антихристову” церковь. Учение скрытников широко распространилось в Каргопольском уезде во второй половине XIX века после разгрома Выговской общины, и это течение в старообрядчестве, отличавшееся особой бескомпромиссностью по отношению к власти, просуществовало до 70-х годов XX века. Как в XIX веке, бегуны хранили и передавали из общины в общину свои тайные “цветники” и другие “отреченные” списки, также в 30-е — 40-е годы века XX они укрывали бежавших из лагерей и дезертиров с военной службы... Особую роль в их учении играли древние традиции Соловецкого монастыря, после разгрома которого разбежавшиеся иноки проповедовали эсхатологические учения о пришествии Анти-

христа. Сочинения иноков Епифания Соловецкого и Игнатия Соловецкого, проповедовавшего самосожжение как средство спасения души, получили широкое распространение в страннической и староверческой в целом среде Русского Севера, но преимущественно среди скрытников.

“Письма из Кожеозёрска, из Хвалынских молелен, от дивногорцев и спасальцев кавказских, с Афона, Сирии, от китайских несториан, шёлковое письмо из святого города Лхаса – вопияли и звали меня каждое на свой путь. Меня вводили в воинствующую вселенскую церковь...”

Так рассказывал Клюев в 1919 году – и едва ли возможно определить, какая из обозначенных реалий относится к его домашней жизни, какая – к жизни в Соловецком монастыре, а какая – к годам позднейших скитаний... Так или иначе в своём духовном мире он, в конце концов, связал все эти разнородные и разноцветные нити в единое целое, создав уникальное не только в русской, но и в мировой поэзии лиро-эпическое полотно... Но до этих сроков нужно было ещё дожить.

* * *

Многие оставшиеся насельники Соловецкого монастыря внешне приняли новообрядчество, но, по сути, оставались приверженцами старых, традиционных обрядов, уже не выступая открыто против власти, но тайно соблюдая заветы праотцев. Прасковья Дмитриевна знала, куда посылать сына.

*— Уже пятнадцать миновало,
У лося огрубело сало,
А ты досель игрок в лапту, —
Пора и пострадать немного
За Русь, за дебренского Бога
В суровом Анзерском скиту!
Там старцы Никона новиной,
Как вербу белую, осиной
Украдкой застыт древний чин.
Вот почему старообрядцы
Елиазаровские Святцы
Не отличают от старин!*

“Будет, как Иоанн Златоуст”... К особой участи готовила Николая мать, строга и в заботе о его духовном здоровье, и о непреклонности в вере.

“С первым пушком на губе, – рассказывал Николай в “Гагарьей судьбине”, – с первым стыдливым румянцем и по особым приметам благодати на теле моём был я благословлён родителью моей идти в Соловки, в послушание к старцу и строителю Феодору, у которого и прошёл верижное правило. Старец возлюбил меня, аки кровное чадо, три раза в неделю, по постным дням, не давал он мне не токмо чёрного хлеба, но и никакой иной снеди, окромя пряженого пирожка с изюмом да вина кагору ковшичка два, чистоты ради и возраста ума недоуменного – по древней греческой молитве: “К недоуменному устремимся уму...”

Часто, видно, повторял за время своего послушания молоденький иннок этот акафист Иисусу Сладчайшему. Смирению и приобщению к Богу способствовали и низкокалорийная диета, и затворничество в келье, и поклонное правило... Если верить Клюеву (а не верить ему нет никаких фактических доказательных оснований), это было первое его послушание в монастыре. За ним последовало второе, во время которого Николай проходил уже “верижное правило” – ношение вериг, которое уподобляло телесные страдания страданиям Иисуса Христа на Кресте и вызывало в памяти духовные подвиги юродивых... Но о дальнейшем пусть расскажет сам Клюев – снова обращаемся к “Гагарьей судьбине”:

“А в Соловках я жил по два раза. В самой обители жил больше года без паспорта, только по имени – это в первый раз; а во второй раз жил на Секирной горе. Гора без малого 80 саж<еней> над морем. На горном же темени церковка каменная и келья. Строителем был при мне о<тец> Феодор, я же был за старцем Зосимой.

Долго жил в избушке у озера, питался, чем Бог послал: черникой, рыжиками; в мёрдушку плотицы попадут – уху сварю, похлебаю; лебеди дикие под самое оконце подплывали, из рук хлебные корочки брали; лисица повадилась под оконце бегать, кажнюю зарю разбудит, не надо и колокола ждать.

Вериги я на себе тогда носил девятифунтовые, по числу 9 небес, не тех, что видел ап<остол> Павел, а других. Без 400 земных поклонов дня не кончал. Икона Спасова в углу келейном от свечи да от молитвы словно бархатом перекрылась, казалась мягкой, живой. А солнышко плясало на озере, мешало золотой мутовкой озёрную сметану, и явно виделось, как преп<одобный> Герман кадит кацеёй по берёзовым перелескам.

Люди приходили ко мне, пахло от них миром мирским, нудой житейской. . . Кланялись мне в ноги, руки целовали, а я плакал, глядя на них, на их плен чёрный, и каждому давал по сосновой шишке в память о лебединой Соловецкой земле”.

“Девять небес”, о которых говорит Ключев – девять чинов ангельских, девять ступеней иерархии ангельских существ по учению Псевдо-Дионисия Ареопагита, одного из любимейших авторов протопопа Аввакума. Эта иерархия образует три триады по степени близости к Богу: 1) херувимы, серафимы, престолы; 2) господства, силы, власти; 3) начала, архангелы, ангелы. Первая триада – в непосредственной близости к Господу. Вторая – отражение принципа божественного мировладычества. Третья – в непосредственной близости к миру и человеку. К этим триадам Ключев ещё будет, особенно часто в предреволюционный и революционный период, обращаться в поэтическом творчестве.

А о Соловецкой обители поэт вспомнит уже в середине 20-х годов, когда на святом месте расположится знаменитый СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения, когда новомученики российские кровью окропят землю, помянувшую святых Зосиму и Савватия.

*Распрекрасный остров Соловецкий,
Лебединая Секир-гора,
Где церквушка, рубленная клецки, —
Облачному ангелу сестра.
Где учился я по кожаной Триоди
Дум прибою, слов колоколам,
Величавой северной природе
Трепетно моляся по ночам...
Где впервые пономарь Авива
Мне поведал хвойным шепотком,
Как лепечет травка, плачет ива
Над осенним розовым Христом.
И Феодора — строителя пустыни,
Как лесную речку помяну,
Он убит и в лёгкой /белой с/кр/ы/не
Поднят чайками в голубизну...
Помнят смироглазые олени,
Как, доев морошку и кору,
К палачам своим отец Парфений
Из избушки вышел поутру.
Он рассечен саблями на части
И лесным пушистым глухарём
Улетел от бурь и от ненастий
С бирюзовой печью в новый дом...
.....
Триста старцев и семьсот собратий
Брошены зубастым валунам.
Преподобные Изосим и Савватий
С кацеями бродят по волнам...*

* * *

Под ключевский рассказ о Соловках можно заснуть сказочным сном, не желая просыпаться. Это не столько жизнь – сколько житие. Соблазн, конеч-

но, есть — попытаться, используя “косвенные данные”, “разоблачить” поэта. Но благодарному слушателю возрастет большим.

Иона Брихничёв — личность чрезвычайно мутная, но значимая в ранней биографии Клюева — спустя 10 лет так писал о клюевском “Соловецком сидении”: “Совсем юным, молоденьким и чистеньким попадает поэт в качестве послушника в Соловецкий монастырь, где и проводит несколько лет. Но что выносит он среди грубых, беспросветно грубых и развратных монахов — об этом я здесь умолчу”. Писал он это с клюевских слов, по-своему их неизбежно переиначивая и разукрашивая и, возможно, искажая смысл. Вроде бы становится понятным “отселение” Николая из кельи в “избушку у озера” — неизбежно, с благословения старца Зосимы, а, возможно, и по его прямому настоянию. Но причина всё же не в “монахах”, а в особом пути молодого послушника, провиденного старцем. Верижное правило, молитвы, поклонное правило — всё истово соблюдает Николай, достигая такой полноты в душе, что звери без страха посещают его и приходят паломники на душеспасительные беседы с благоговейными поклонами. Только абсолютное духовное совершенство позволяло не впасть в прельщение. Константин Логинов подчёркивает, что Клюев этого испытания не выдержал.

Очевидно этому способствовал главный соблазн дальнейшей клюевской жизни — соблазн стихописания, о котором сам Клюев в 1922 году рассказывал Павлу Медведеву: “Свою поэзию определяет: “Песенный Спас”, — записывал Медведев. — Учился ей у Петра Леонтьева, который в “чёрной тюрьме” в Соловках 18 лет просидел за церковь Михаила Архангела: 3? года Клюев у него спасался”. “Спасался” Клюев, конечно, не у сектанта и общался с ним не столь уж продолжительное время. Леонтьев, заключённый в соловецкую монастырскую тюрьму (упразднённую в 1902 году), видимо, имел беседы с молодым послушником, рассказывая ему о песнопевцах своей секты и напевая их гимны. Песенный дар, в конце концов, возьмёт верх над даром проповедника. Но пока это лишь — первые сомнения в правильности избранного пути.

Возможно, Николаю с его проповедническим даром и приобщением к неземным энергиям был действительно уготован путь духовного наставника, старца нового столетия, наподобие блаженной памяти Серафима Саровского. Слава о нём уже ходила среди людей — и не могли не найтись те, кто желал бы сбить его с пути истинного, лишить Россию зарождавшегося духовного вождя. Да и стремление к дальнейшему духовному совершенству — при юношеской внутренней неустойчивости и чувстве обольщения собственным даром и достигнутыми свершениями — всё это сыграло роковую роль в самое ближайшее время. Однажды среди других паломников появился человек, заведший с Николаем совершенно иные речи.

“Раз под листопад пришёл ко мне старец с Афона в седине и ризах преподобнических, стал укором укорять меня, что не на правом я пути, что мне нужно во Христа облечься, Христовым хлебом стать и самому Христом быть.

Поведал мне про дальние персидские земли, где серафимы с человеками брашно делят и — многие другие тайны бабидов и христов персидских, духовидцев, пророков и братьев Розы и Креста на Руси.

Старец снял с меня вериги и бросил в озёрный омут, а вместо креста нательного надел на меня образок из чёрного агата; по камню был вырезан треугольник и надпись, насколько я помню — “Шамаим”, и ещё что-то другое, чего я разобрать и понять в то время не мог.

Старец снял с себя рубашку, вынул из котомки портки и кафтанец лёгонький, и белую скуфейку, обрядил меня и тем же вечером привёл на пароход как приезжего богомольца-обетника”.

Слишком много здесь сказано, но ещё больше — о чём можно лишь догадываться — осталось в подтексте. И невозможно угадать — насколько точно Николай Архипов записывал слова Николая Клюева (уже то, что “старец” снимает “с себя” рубашку, а потом обряжает Николая в новину, вынуждает прочесть “с себя”, как “с меня”, если не иметь в виду, что Клюев обряжается в рубашку своего нового наставника), а, самое главное, — насколько точен был и насколько “путал след” сам Клюев.

Повествуя о подобных перипетиях своей жизни, он рисковал, скорее, отторжением, чем благодарным усваиванием “прекрасной легенды”... Сам Николай, слушая старца, впал в такой соблазн очарования, что безропотно позволил снять с себя вериги и крест. Кем же всё-таки был этот “старец с Афона”?

Можно только догадываться, что это изгнанник с Афонского монастыря, много путешествовавший, общавшийся и с тайными сектантами-бабидами, пытавшимися реформировать ислам, и с мистиками-розенкрейцерами, пришедший к хлыстовству, и, в конце концов, к скопчеству — крайнему ответвлению хлыстовства. Человек недюжинной внутренней силы, одолевший своей духовной мощью молодого проповедника, вселивший в его душу соблазн дальнейшего совершенствования уже не на путях святоотеческих. И Клюев — поддался.

Не поддаться было трудно. Но и сейчас нелегко себе представить — как умели соблазнять эти люди, напевно уговаривая, маня к себе... Отдалённое представление об этом можно получить, прочитав рассказ Марины Цветаевой “Хлыстовки”, где поэтесса вспоминает о детской своей встрече с сектантками:

“Маринушка, красавица, оставайся с нами, будешь наша дочка, в саду с нами жить будешь, песни наши будешь петь...” — “Мама не позволит”. — “А ты бы осталась?” Молчу. “Ну, конечно бы, не осталась — мамашу жалко. Она тебя небось во-он как любит?” Молчу. — “Небось, и за деньги не отдаст?” — “А мы мамашу и не спросим, сами увезём! — какая-то помоложе. — Увезём и запрём у себя в саду и никого пускать не будем. Так и будет она жить с нами за плетнём. (Во мне начинает загораться дикая жгучая несбыточная безнадежная надежда: а вдруг?) Вишни с нами будешь брать, Машей тебя будем звать...” — та же, певуче. “Не бойся, голубка, — постарше, приняв мой восторг за испуг, — никто тебя не возьмёт, а придёшь ты к нам в гости в Тарусу с папашей и с мамашей, али с нянькой — небось, каждый воскресный день мимо ходите, всё на вас смотрим, вы-то нас не видите, а мы-то всё-о видим, всех... В белом платье придёшь пикеевом, нарядная, в башмачках на пуговках...” — “А мы тебя оденем в на-аше! — подхватывает та певучая неугомонная, — в чёрную ряску, в белый платочек, и волоса твои отрастим, коса будет...” — “Да что ты её, сестрица, страшишь! Ещё впрямь поверит! Каждому своя судьба. Она и так наша будет, — гостья наша мечтанная, дочка мысленная...”

И, обняв, прижав, подняв, поддав — ух! на воз, на гору, в море, под небо, откуда всё сразу видно: и папа в чесучовом пиджаке, и мама в красном платочке, и Августина Ивановна в тирольском, и жёлтый костёр, и самые далёкие зализы песка на Оке...”

Старшая одёрнула младшую, но как же соблазнителен был тот напев, если и через десятки лет, уже в Париже, сорокадвухлетняя Марина Цветаева продолжала мечтать:

“Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растёт самая красная и крупная в наших местах земляника.

Но если это несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уже нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили, с тарусской каменоломни, камень:

Здесь хотела бы лежать
МАРИНА ЦВЕТАЕВА.”

...Рядом с Клюевым не было матери. Были соловецкие наставники, от которых он внутренне начал уже отходить. Семена, посеянные “старцем”, падали на благодатную почву. Николай безропотно принял замену креста на “образок из чёрного агата” с вырезанными по камню треугольником и надписью, в которой выделилось в его памяти слово “Шамаим”, чёрный агат, который также называли камнем Великой Матери — символ скорби. Треугольник — каббалистический знак, обозначавший у розенкрейцеров трон Бога. Шамаим — в Каббале означает “область небес”, Океан Духа, то же — небесный свод в Ветхом завете. Полная надпись на чёрном агате, которую “не мог понять” Клюев, очевидно, была: “Серис биди Шамаим” — “скопец волею небес”. То есть новый “учитель жизни” был адептом скопческой секты. Этому евангельскому стиху — “Серис биди Шамаим” — Василий Розанов посвятил целую главу в книге “Апокалипсическая секта”, где писал о “роковой филологической ошибке”, то есть ошибке самих скопцов, для которых перевод стиха звучал как “оскопившие себя ради Царствия Небесного”. “Христос, едва назвал два вида скопчества, “от чрева матери” и “от людей”, даже не мог не назвать не-

пременно и третьего вида, ибо ученики Его поставили *общий* вопрос о безбрачии. Он же, сказав, что остаются безбрачными только те, “кому” именно “дано”...” (В. Розанов). А “Страды” основоположника скопчества Кондратия Селиванова повествуют о мучениях “батьюшки”, о его покаянии, о чудесах, с ним бывших, и о пророчествах, им слышанных. “И на крест меня отдали Божьи Люди. А жил я в городе Туле в доме у жены мирской, у Федосьи Иевлевны грешницы, у ней в подвале там и жил. Она меня приняла, а свои не приняла, и они же доказали и привели к ней в дом команду солдат...”

“Привели меня в Тулу и посадили меня на крепком стуле. И препоясали меня шелковым поясом железным, фунтов в пятнадцать, и приковали меня к обеим стенам, и за шейку, и за ручки, и за ножки, и хотели меня тут уморить. И было всегда четыре драгуна на часах; и в другой комнате сидели мои детушки трое, которые на меня доказали, и было сказано поутру сечь их плетью. Но мне их стало жаль, и я со креста сошёл, и все кандалы с меня свалились, а драгуны в это время все задремали и не видели, как я прошёл. И я своих детушек нашёл и говорил им: “Детушки, не бойтесь. Ничего вам не будет и будете отпущены. А я уж один пойду на страды за всех своих детушек прославить имя Христово и победить Змея снова, чтоб он на пути не стоял и моих людишек не поедал”.

“А тебя хотят теперь же все продать. Но хотя ты и будешь сослан далеко и наложат на тебя оковы на руки и ноги, но, по претерпении великих нужд, возвратишься в Россию и потребуешь всех Пророков к себе налицо, и станешь судить их своим судом. Тогда тебе все Цари, и Короли, и Архиеереи поклонятся, и отдадут великую честь, и пойдут к тебе полки полками”.

“В ту пору, когда Пугачёва везли, и он на дороге мне встретился. И его провожали полки полками, и тож под великим везли караулом его; а меня везли вдвое того больше, и весьма строго везли. И тут, который народ меня провожал, — за ним пошли, а которые его провожали, — за мной пошли. Ехавши я дорогой, и помыслил: “Напрасно я людей скоплял, а скопил бы сам себя, и спасал бы свою душу”.

Так Кондратий Селиванов отождествлял себя и с Христом, и Петром III, и так же отождествляли своего “батьюшку” его последователи. А “Божьи люди”, отдавшие “на крест”, — христы, сектанты, представлявшие до конца XVIII века со скопцами практически одно целое. “Скопчество выродилось из хлыстовщины как крайнее её проявление и в настоящее время составляет с нею одно нераздельное целое”, — писал Н. В. Реутский в книге “Люди Божьи и скопцы. Историческое исследование (из достоверных источников и подлинных бумаг). М., 1872”. И опять-таки, хочешь не хочешь — вспомнишь тут о Спасителе, преданном своим учеником.

* * *

Клюев в своём рассказе не разделяет скопцов и христов. Адепт скопчества сдаёт его на руки голубям-скопцам, которые после продолжительного странствия приводят отрока в “корабль” — “христовскую общину”.

“В городе Онеге, куда я со старцем приехал, в хорошем крашеном доме, где старец пристал, нас встретили два молодых мужика, годов по 35. Им старец сдал меня с наказом улаживать меня и грубым словом не находить.

Братья-голуби разными дорогами до Волги, а потом трешкотами и пароходами привезли меня, почитай, в конец России, в Самарскую губернию.

Там я жил, почитай, два года царём Давидом большого Золотого Корабля, белых голубей — христов. Я был тогда молоденький, тонкопечий, ликом бел, голос имел залихватый, усладный”.

О мистической секте христов часто говорили и писали, что возникла она под влиянием западных мистических течений, преимущественно гностического характера, в период грандиозной церковной смуты в середине XVII века в Костроме — её основателем называли Данилу Филипповича, выдававшего себя за “бога Саваофа”. На самом деле оно было непосредственно связано с мистико-аскетическими и эсхатологическими движениями русского раскола, в первую очередь — с последователями Капитона Костромского и Даниила Викулова Поморского. Само по себе мистическое сектанство было тесно связано с радикальными направлениями русского старообрядчества, в частности,

с беспоповщиной. Сектанты называли себя “христами” и никогда — “хлыстами”, говорили, что дьявол “не может выговорить слово “христы” и поэтому говорит “хлысты”. Сам термин “христовщина” впервые появился в “Розыске о раскольнической брынской вере” Димитрия Ростовского, который описывал христовщину как отдельный раскольнический толк. А об основателе секты — Даниле Филипповиче — так повествовал П. И. Мельников (Печерский):

“Крестьянин Юрьевского уезда Данила Филиппов также был в числе учеников Капитона... Во время сильных споров о том, по старым или по новым книгам можно спастись, Данила Филиппович решил, что ни те, ни другие никуда не годятся и что для спасения души необходима одна:

*Книга золотая,
Книга животная,
Книга голубиная:
Книга Сударь Дух Святой.*

Он учил, что надо молиться духом и что при таком только молении в человека может вселиться Дух Божий. Хлысты рассказывают, что их учитель, в доказательство ненужности и старых, и новых книг, собрал те и другие в один куль, положил в него груза камней и бросил в Волгу.

Через несколько времени Данила Филиппович является в окрестностях Стародуба, находившегося тогда в Муромском уезде. В Стародубской волости, в приходе Егорьевском, говорят хлысты, на Гору Городину... сошёл с небес в славе Своей сам Господь Саваоф. Силы небесные вознеслись назад, на небо, а Саваоф остался на земле в образе человеческого, воплотясь в Даниле Филипповиче”.

В одном из христовских псалмов поётся о том, что “Первое сошествие Бога было в Риме и Иерусалиме. И сияла вера много лет, и стала вера отпадать, и отпадала триста лет”. А когда отпала — собрались “люди умные”, пошли на “святое место” и стали “сзывать Бога с неба на землю”.

*И бысть им глас из-за облака:
“Послушайте, верные мои!
Сойду Я к вам, Бог, с неба на землю;
Изберу Я плоть пречистую и облечусь в неё;
Буду Я по плоти человек, а по духу Бог;
Приму я распятый крест,
В рученьки и ноженьки гвоздильницы железныя;
Полью слёзы горячия,
Проточу кровь пречистую!
Станете вы ко Мне в темницу приходить,
И узы с Меня снимать,
Десятью денежку подавать.*

И “сократил на огненной колеснице сам Господь Бог”, и вселился в чистую плоть Данилы Филипповича. Так христы сказывали, и ещё сказывали, что их “Господь” много лет томился в узилище у Алексея Михайловича, наконец, выпущенный, отправился в Кострому и там дал людям двенадцать заповедей, и первая из них: “Я тот Бог, который предсказан пророками, сошёл на землю спасти род человеческий, другого Бога не ищите”.

Тогда же, в конце XVII века, в Москве стала известна хлыстовская “сионская горница”, во главе которой стоял Иван Тимофеевич Суслов, — “горница” располагалась в его доме... Староверы не признали этого ответвления и отнеслись к христовству, как к богопротивной ереси, — сам Аввакум писал из Пустозерска Ионе в середине 70-х годов того же столетия: “А и держат Евангелие и Апостол, а святые иконы отмещут, то явные фряги есть, сиречь немцы. И их вера такова: не приемлют святых семь собор/ов/, ниже словес святых отец, ни иконного поклонения, но токмо Апостол и Евангелие, и евангелики глаголются, також лютерцы и кальвинцы. Священнический сан иноческий отринувшее; и баба и робя умеющее грамоте, то и поп у них”. Отсюда и пошло мнение о христовстве, как о ветви западных мистических течений.

Христы отличались крайним аскетизмом и в этом отношении смыкались со староверами-беспоповцами. Ими был принят обет безбрачия (как и у вы-

гово-лексинских староверов, которые отрицали любые формы брачной жизни), введён запрет на употребление хмельных напитков и матерную брань. Последняя приравнивалась к оскорблению Богородицы, и последствия такого оскорбления предполагались самые катастрофические. Так пелось в духовном стихе “О матерном слове”, записанном В. Ф. Ржигой в 1906 году:

*Вы, народ Божий православный,
Мы за матерное слово все пропали,
Мать Пресвятую Богородицу прогневили,
Мать мы сыру землю осквернили;
А сыра земля матушка всколебаётся,
Заветы церковные разрушаются,
Придет к нам река огненная,
Соидет судия к нам праведная.*

И здесь необходимо сказать, что все, имеющиеся в литературе (художественной ли, “научной” ли) сведения о так называемом “свальном грехе” христов, что свершается во время радений, – не имеют ничего общего с реальностью. Более того, эти радения по своей обрядово-символической природе ассоциировались со старыми староверческими “гарями”, которые ко второй половине XIX века были уже крайне редки. Радение как бы символизировало и гарь, и последующий Страшный суд, перед которым предстают члены христового “корабля”.

Круговые, корабельные и крестные радения, на которых после первого песнопения “братья” и “сестры” кружились сначала хороводами, потом поодиночке, потом каждый вокруг собственной оси под возглас пророка “плотей не жалеите, Марфу не щадите”, потом бегали друг за другом по эллипсу и, наконец, становясь по углам, быстро менялись местами, доводя себя до приступов экзальтации, во время которых призывали “духа святого”, дабы накатил, и каждый ощутит себя Христом, а каждая – Богородицей – сопровождались песнопениями, производящими, по свидетельствам очевидцев, довольно жуткое впечатление.

*Уж вы верные, вы избранные,
Вы не знаете про то, вы не ведаете,
Что у нас ныне на сырой земле понадеялось:
Катает у нас в рае птица,
Она летит,
В ту сторону глядит,
Да где трубушка трубит,
Где сам Бог говорит:
Ой, Бог! ой, Бог! ой, Бог!
Ой, дух! ой, дух! ой, дух!
Накати, накати, накати!
Ой, ега, ой, ега, ой, ега!
Накатил, накатил
Дух свят, дух свят!
Царь дух, царь дух,
Разблажился,
Разблажился,
Дух свят, дух свят!
Ой, горю, ой, горю,
Дух горит, Бог горит,
Свет во мне, свет во мне,
Ой, горю, горю, горю,
Дух, ой, ега, ой, ега,
Евое
Дух свой, дух свой, дух свой.*

Завершается радение – и коленапреклонённые христы, ещё не отошедшие от дикой пляски, пребывающие “в духе”, выслушивают пророчество главы “корабля”:

— Я, возлюбленные, Саваоф, вам скажу, в сердца ваши благодать вложу, покровом вас закрою, и от злых зверей закрою. Я, Бог, вас награжу, и хлебушка на весну вам урожу. Я святой Дух, вас защищу и сюда никаких врагов не допущу. Я, Бог, благодать вам с седьма неба принесу, и всю вселенную протрясу. Вы живите, возлюбленные, как птицы, никакие не попадут на сердце к вам спицы. Я вас, возлюбленные, защищу и до явного острога не допущу. Я вас не оставлю и ко всем ангелов приставлю и ото всех злодеев вас избавлю. Я ведь вами много дорожу и явной казней вас награжу. Я сошлю вам с седьма неба манну, что не узнает о ней никакая и Анна. Если на вас наденут путы, я велю их долой столкнуть.

“Никакая и Анна” — видимо, сохранившаяся в памяти у “отцов-основателей” христовства и перешедшая в их пророчество “вторая верховная боярыня” Анна Ртищева, ярая никонианка, которую староверы прозвали “Анна — Никонова манна” и о которой протопоп Аввакум писал: “Царь ево (Никона) на патриаршество зовёт, а он быто не хочет, мрачил царя и людей, а со Анною по ночам укладывают, как чему быть, и много пружався со дьяволом, взошел на патриаршество Божиим поущением, укрепя царя своим кознованием и клятвою лукавою... Ум отнял у милова (царя), у нынешнева, как близ его был. Я веть тогда тут был, всё ведаю. Всему тому сваха Анна Ртищева со дьяволом”.

А после пророчества следует общее пение последней молитвы:

*Царю, свет небесный, милосердный наш Бог,
Упование Божие, прибежище Христово,
Покровитель свят Дух в пути!
Бог с нами, с нами Бог и над нами,
За нами, пред нами! Сохрани нас, Господь,
От злых от злодеев, от лихих иудеев.*

Как вещал в “Книге жизни” один из христов в конце XIX века: “Слушай, народ, говорит вам Христос устами своими и рани всякое слово книги сей оно годится тебе, оно меч твой, ни змей, ни дух поднебесный не победят тебя. Если навек сохранишь в сердце и душе своей слово моё. Да так говорит сам искупитель народу своему: моё появление на земле ничего не изменило, природа, как была, так осталась ей, но вы в духе должны уразуметь всё, чем я буду повествовать вам, моё пришествие на землю было подобно падшей звезде, которой имя было полын горький...” (Здесь — и явная отсылка к Откровению Иоанна Богослова)... Достигнув состояния “в духе”, “братья” и “сёстры” после выноса блюда с нарезанным хлебом и братины с квасом — вкушали хлеб и питье, в которое был трижды погружён крест — вместо причастия святых таин. Подобное “причастие” было унаследовано от выговцев, которые вкушали “богородичен” хлеб, прототипом которого послужила просфора, из которой на проскомидии вынимается частица в память Богородицы... А в иных сектантских общинах, по показаниям сектантов, толковалось, что “когда в церкви поют: “Тело Христово примите”, это-де надобно петь: “дело Христово примите”, а не тело, “источника бессмертного в сердцах закусить”, а святое и пречистое Тело и Кровь Христова называлась — “от земли взято, в землю и пойдёт”... Эти воззрения нам ещё надлежит вспомнить, когда мы будем пристально вчитываться в стихи Ключева, особенно в стихи, написанные во время Первой мировой войны — перед Революцией.

* * *

И всё же — насколько правдив рассказ Ключева о страннике, снявшем крест с груди Николая и заменившем его амулетом из чёрного агата? Как бы ни расходились в воззрениях христы со староправославными и новоправославными — и как бы ни расходились с ними же и со христами скопцы, достигавшие самооскоплением высшего, как они полагали, аскетизма, — всё же и те, и другие считали себя православными христианами. Но были, были среди них и чистые мистики, не почитавшие Христа. Т. Рождественский в комментариях к сборнику “Песен русских сектантов-мистиков”, изданном в Санкт-Петербурге в 1912 году, писал: “Относительно истинного Христа-Спасителя, хлысты

утверждают, что он приходил на землю преподавать людям закон веры и нравственности и научить людей раденьям, а, по мнению скопцов, чтобы ввести оскотление, прообразом которого в Ветхом завете было будто бы обрезание. Многие хлысты признают Спасителя одним из своих “христов”, своеобразно объясняя всю евангельскую историю, другие совсем не почитают Его”. К последним, судя по всему, и относился новый клюевский наставник, изгнанный за ересь с Афона. И привёл он своего подопечного в хлыстовский “корабль”... В котором, как и во многих хлыстовских общинах Центральной России, существовала практика ритуального оскотления. И если одна из “заповедей” Данилы Филипповича была: “Холостые не женитесь, женатые живите с жёнами в по-сестрии” (как с сёстрами), то у иных “белых голубей” полноты духа достигали именно лишением детородных органов, о чём Николай, если верить его словам в “Гагарей судьбине”, поначалу не знал.

Клюев обозначил начало своего творческого пути как пути слагателя псалмов и гимнов для секты. Псалмы иудейского царя Давида, основавшего династию, правившую ещё лишь одно правление в период кратковременного объединения Израиля и Иудеи, были своего рода образцом для сектантских песнеслагателей, и сам Николай в позднейшей автобиографии упоминал царя Давида в числе своих любимых поэтов, называя рядом с ним Романа Сладкопевца и Поля Верлена (объединение знаковых фигур различных эпох – характерная черта миропонимания Клюева). Текстов его этого времени мы не знаем – и остаётся лишь верить ему на слово. Впрочем, наверняка сплошь и рядом новоявленный “Давид” перепевал на свой лад бытовавшие в сектантской среде песнопения, не отличавшиеся особой стихотворной изощрённостью. А дальше – произошло ещё одно ключевое событие клюевской жизни.

“Великий Голубь, он же пророк Золотого Корабля, Духом Божиим движимый и Иоанном в духовном Иордане крещённый, принёс мне великую царскую печать. Три дня и три ночи братья не выходили из Корабля, молясь обо мне с великими слезами, любовью и лаской ко мне. А на четвёртый день опустили меня в купель.

Купель – это деревянный сруб внутри дома; вход с вышки по отметной лесенке, которую убрали вверх. Тюфяк и подушка для уготованных к крещению набиты сухим хмелем и маковыми головками. Пол купели покрыт толстым слоем хмеля, отчего пьянит и мерещится, слух же и голос притупляются. Жёг я восковые свечи от темени, их было числом сорок; свечки же хватало, почитай, на целый день, они были отлиты из самого ярого белого воска, толщиной с серебряный рубль. Кормили же меня кутьёй с изюмом, сканями пирогами белыми, пить же давали чистый кагор с молоком.

В такой купели нужно было пробыть шесть недель, чтобы сподобиться великой печати. Что подразумевалось под печатью, я тогда не знал, и только случай открыл мне глаза на эту тайну”.

И опять неизбежен вопрос: насколько точен и справедлив Клюев в устной передаче тех давних событий? Даже в скопческих сектах (не говоря уже о “христовых кораблях”, где была принята эта практика) далеко не все подвергались оскотлению, а лишь те, кто, считалось, достиг необходимого духовного предела. Естественно, этот шаг был абсолютно добровольным. Более того, оскотление воспринималось многими христианами как эстраординарный подвиг, доступный лишь немногим, способным вернуться в безгрешное, “ангельское” состояние. А самой ритуальной операции предшествовал обряд клятвенной присяги перед иконой или крестом и *прощальные слова*, которые посвящающийся должен был повторить за наставником общины:

– Прости меня, Господи, прости меня, Пресвятая Богородица, простите меня, ангелы, архангелы, херувимы, серафимы и вся небесная сила, прости, небо, прости, земля, прости, солнце, прости, волна, простите, звёзды, простите, озёра, реки и горы, простите, все стихии земные и небесные!

Уже одно это *прощание* не даёт никакого иного толкования “великой печати”.

Но, опять же, если верить Николаю, известие о “великой царской печати” он принял за ещё более высокое посвящение, за инициацию, позволяющую достичь ещё большей духовной высоты – и дал своё согласие. Соответствующую

щая диета и хмельное опьянение поддерживали его в необходимом “братьям” состоянии и навевали ему самому сладкое предвкушение постижения тончайших энергий... Вся эта “подготовка” рухнула разом, когда, по клюевским словам, “брат” Мотя проговорился ему, что ждёт “Давида” полное осклопление, — “и если я умру, то меня похоронят на выгоне и что уже там на случай вырыта могила, земля рассыпана по окраюку, вдалеке, чтобы незаметно было; а самая яма прикрыта толстыми плахами и дерном, чтобы не было заметно”.

Мотя, тронутый слезами Николая, указал ему на новое бревно внизу срубца, которое можно расшатать и наверх выбраться. “И я, наперво пропихав свою одежду в отверстие, сам уже нагишом вылез из срубца в придворок, а оттуда уже свободно вышел в конопляники и побежал, куда глаза глядят. И только когда погасли звёзды, я передохнул где-то в степи, откуда доносился далёкий свисток паровоза”.

Но не естественнее ли предположить, что Клюев изначально знал, на что идёт, — и лишь в “купели” обуял его дикий страх, и он уговорил со слезами своего нового “брата” помочь ему бежать, чем тот сможет... Так бывает, что поначалу гордыня в предвкушении “высшего совершенства” захлёстывает иного человека, а когда воочию осознаётся плата, которую придётся принести за это “совершенство”, — не у каждого хватает духу.

Пережитое, однако, глубоко отложилось в душе поэта, и настал день, когда не достигнутое состояние “ангела” стало рисоваться всеми цветами радуги в предреволюционных стихах — как предвплочение бесфизиологического, духовного вселенского соития и “небесного рожества” в земной жизни по сокрушении всех давящих обручей.

*О скопчество — венец, золотоглавый град,
Где ангелы пятой мнут плоти виноград,
Где площадь — небеса, созвездия — базар,
И Вечность сторожит диковинный товар:
Могущество, Любовь и Зеркало веков,
В чьи глубины смотрит Бог, как рыбарь на улов!*

*О скопчество — страна, где бурый колчедан
Буравит ливней клюв сквозь хмару и туман,
Где дятел-Маета долбит народов ствол
И Оспа с Колтуном навастривают кол,
Чтобы вонзить его в богоневестный зад
Вселенной Матери, и чаще всех услад!*

*О скопчество — арап на пламенном коне,
Гадательный узор о незакатном дне,
Когда безудный муж, как отблеск маргарит,
Стокрылых сыновей и ангелов родит!
Когда колдунью-Страсть с владыкою-Блудом
Мы в воз потерь и бед одрами запряжём,
Чтоб время-ломовик об них сломало кнут...*

Пусть критики меня невеждой назовут.

Грядущие критики, в представлении Клюева, сами были сущими невеждами, ибо, ошарашенные чисто физиологическим воплощением духовного “восхождения”, картиной соития со “Вселенной Матерью”, когда воспарение Духа неотделимо от ощущения физического блаженства, — естественно, оказываются не в состоянии соединить в самых запредельных полётах своего воображения “арапа” с “пламенным конём”, ибо конь — белый конь, на которого садится “посвящаемый” (а это — прямое отнесение свершающегося действия к Откровению Иоанна Богослова: “И видех небо отверсто, и се, конь бел, и седяй на нем верен и истинен, и правосудный и воинственный... И нарицается имя его слово божие. И воинства небесная идяху вслед его на конях белых, облечены в виссон бел и чист”) — и означает большую царскую печать, то есть полное осклопление. В скопческой среде широко популярным было песнопение, воспевающее “батюшку” Кондратия Селиванова:

*Уж на той колеснице огненной
Над пророками пророк сударь гремит,
Наш батюшка покатывает.
Утверждает он святой Божий закон.
Под ним белый храбрый конь.
Хорошо его конь убран,
Золотыми подковами подкован.
Уж и этот конь не прост,
У добра коня жемчужный хвост,
А гривушка позолоченная,
Крупным жемчугом унизанная;
Во очах его камень-маргарит.
Изо уст его огонь-пламень горит.
Уж на том ли на храбром на коне
Искупитель наш покатывает.*

Пламенным конь становится под арапом, сжигаемым похотью, и чем сильнее вождение, тем более велик эффект освобождения от него и вознесения в Духе — где “безудный муж” рождает бестелесных существ, несущих Благою Весть... Откуда взялся образ арапа? Откуда эти восточные коннотации? Из жизни, о которой мы узнаем из дальнейших клюевских рассказов и о которых речь пойдёт в своё время.

* * *

Хронологию этих лет жизни нашего героя практически невозможно расписать — о событиях, причудливо перемежающихся в его сознании, мы ведаем только со слов самого поэта. Не представляется возможным определить, в частности, хотя бы приблизительную дату его встречи со Львом Толстым, о которой Клюев рассказал в той же “Гагарьей судьбине”:

“За свою песенную жизнь я много видел знаменитых и прославленных людей. Помню себя недоростком в Ясной Поляне у Толстого. Пришли мы туда с рязанских стран: я — для духа непорочного, двое мужиков под малой печатью и два старика с пророческим даром”.

“Двое мужиков под малой печатью” — скопцы с неполностью удалёнными органами (ядрами), а два старика, надо полагать, — руководители общины, считавшиеся пророками у единоверцев.

“Толстой сидел на скамеечке, под верёвкой, на которой были развешаны поразившие меня своей огромностью синие штаны.

Кое-как разговорились. Пророки напирали на “блаженни оскопившие себя”. Толстой торопился и досадливо повторял: “Нет, нет...” Помню его слова: “Вот у вас мальчик, неужели и его по-вашему испортить?” Я подвинулся поближе и по обычаю радений, когда досада нападает на людей, стал нараспев читать стих: “На Горе, Горе Сионской...”, один из моих самых ранних Давидовых псалмов. Толстой внимательно слушал, глаза его стали ласковы, а когда заговорил, то голос его стал повеселевшим: “Вот это настоящее... Неужели сам сочиняет?...”

Больше мы ничего не добились от Толстого. Он пошёл куда-то вдоль дома... На дворе ругалась какая-то толстая баба с полным подойником молока, откуда-то тянуло вкусным предобеденным духом, за окнами стучали тарелками... И огромным синим парусом сердито надувались растянутые на верёвке штаны.

Старые корабельщики со слезами на глазах, без шапок шли через сад, направляясь к просёлочной дороге, а я жамкал зубами подобранный под окном яснополянского дома большое, с чёрным бочком яблоко.

Мир Толстому! Наши корабли плывут и без него”.

Уже после революции Клюев рассказывал переплётчику Вытегорской типографии М. Каминеру о том, что он посетил Ясную Поляну весной 1910 года, то есть незадолго до ухода и смерти Толстого.

“Приехали туда, идёт по дорожке, женщину встретил простую.

— Дома ли граф?

— Дома.

– А графиня?
– Ох, наша графинюшка в одной оранжевой юбке скачет...
Вышел к нему Толстой.
Здравствуйте, Лев Николаевич, – сказал Ключев.
И тот ответил:
– Здравствуйте, брат Николай”.

Это больше напоминает вторую встречу уже знакомых людей, но ни о каком продолжении столь “содержательного” разговора нет и речи ни в воспоминаниях переплётчика, ни, судя по всему, в рассказе самого Ключева. Зато первая встреча чрезвычайно любопытна.

Состоялась она, как видно, ещё до бегства Ключева из секты, когда он был ещё “недоростком”. Про “рязанские страны”, то есть про Данковский уезд Рязанской губернии, где он продолжал общение с христианами, Николай вспоминал и позже... А мимо Толстого эти “религиозные диссиденты” пройти не могли – поздний Толстой, автор “Исповеди” и трактата “В чём моя вера?” подобных персонажей притягивал к себе, словно магнит. О помощи Толстого духоводом хорошо известно, менее известно о его контактах со скопцами, в частности, о переписке со скопцом Г. П. Меньшениным, которому Толстой писал 31 декабря 1897 года: “Насильственное или даже добровольное оскопление противно всему духу христианского учения”. А встретившись через 10 с лишним лет, незадолго до смерти, со скопцом А. Я. Григорьевым, заявил, “что он с ним сходится, кроме оскопления”, как указано в “Яснополянских записках” Д. Маковицкого. Так что слова Толстого, запомнившиеся Ключеву, полностью согласуются по смыслу с мнениями “второго царя России” по сему вопросу.

Но куда интереснее те детали толстовского обихода, которые подмечает Ключев в Ясной Поляне! И “толстая баба с полным подойником молока”, и “вкусный предобеденный дух”, несущийся из открытых окон дома, где “стучали тарелками”, и яблоко “с чёрным бочком”, который грыз “недоросток”, не приглашённый, как и его спутники, к обеденному столу (сектанты соблюдали строжайший пост, и можно себе представить, как временами мучился от него Николай!) – всё это производило на него куда большее впечатление, нежели отказ Толстого согласиться со скопческим “блаженством”, отчего слёзы выступили на глазах у старых корабельщиков... Толстой – моралист и проповедник опрощения и обращения к “простому трудовому народу”, о чём вещал в “Исповеди”, – в его глазах предстал человеком, совершенно не соответствующим тому образу, который, судя по всему, был вымечтан. Впрочем, в той же “Исповеди”, распостранявшейся по России в списках, и сам Толстой со своей колокольни объяснял подобные “несовпадения”...

“По жизни человека, по делам его, как теперь, так и тогда, никак нельзя узнать, верующий он или нет. Если и есть различие между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, так и тогда явное признание и исповедание православия большею частью встречалось в людях тупых, жестоких и безнравственных и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие и нравственность большею частью встречались в людях, признающих себя неверующими”.

Это уже было прямое отрицание апостольского “По делам узнаете их”.

...А самое запоминающееся – огромные синие штаны, которые “сердито надувались... синим парусом”. Христовский “корабль” плыл под своим парусом – незримым для всех, кроме “белых голубей”, – и нежные видения, запечатленные в христовых песнопениях, навсегда отложились в памяти Николая.

*Уж по морю житейскому,
Как плывёт, плывёт тут лёгкий корабль,
Об двенадцати тонких парусах,
Тонкие парусы — то есть Дух Святой;
Как правил кормщик — сам Иисус Христос,
В руках держит веру крепости,
Чтобы не было, братцы, лепости;
Уж вокруг его все учителя,
Все учителя, все пророки;
Уж под ним престол всего царствия,
Уж на нем риза аки молния,*

*Уж на нем венец — непостижимый свет;
В кораблике знамя — Матерь Божия,
Она просит — о, неприступный свет —
У своего Сына прелюбезного:
“Уж ты, батюшка, сударь Сын Божий,
Сохрани же ты мой сей корабль
Среди мира, среди лютого,
Среди лютого, злого, дикого”.
“Ты не плачь, не плачь, моя матушка,
Пресвятая свет-Богородица,
Живогласная свет-источница,
Сохранию же я твой сей корабль
Среди мира, среди лютого,
Среди лютого, злого, дикого,
Сохранию я его и помилую...”*

Это вам не штаны-паруса, под которыми плывёт толстовский “корабль”... Поистине, мир Толстому!

Пройдут годы после этой встречи, и Россия, и весь мир будут потрясены уходом Толстого из Ясной Поляны и его смертью на станции Астапово. И Клюев в журнале “Новая Земля” опубликует “Притчу об источнике и о глупом мудреце” — ответ Михаилу Арцыбашеву, автору скандальных и до предела циничных “Записок о Толстом”, появившихся в “Итогах недели”, — где дал яркий и пророческий портрет того, кто слыл “большим умником” и по сему вознамерился испоганить источник чистой воды... Притча эта завершается словами верующих, обращённых к сему “мудрецу”: “Пустой человек, ты не только осквернил себя наружно, вымазавшись навозом, но и внутренне показал своё ничтожество, сходя в источник “до ветра”. Пёс, и тот брезгует своей блевотины, а ты ведь человек, к тому же и умом форсишь... Источник не может быть опоганен чем-либо, — вода в нём прохладная, да и жила глубоко прошла. Она неиссякаема и будет поить людей вовеки”.

Тогда же в той же “Новой Земле” Клюев напечатает рецензию на только что вышедшие книги Толстого “Бог” и “Любовь”, вернее, не рецензию, а, скорее, стихотворение в прозе, навеянное чтением этих книг: “Миллионы лет живы эти слова, и как соль пищу осоляют жизнь мира. Исчезали царства и народы, Вавилоны и Мемфисы рассыпались в песок, и только два тихих слова “Бог и Любовь” остаются неизменны. У покойного писателя А. Чехова есть место: пройдут десятки тысяч лет, а звёзды всё так же будут сиять над нами и звать и мучить несказанным (это не столько “место”, сколько общее впечатление Клюева от чеховских пьес — С. К.).

Прости, родная тень! Но, глядя на звёзды, мы говорим уже иначе: — Не пройдут и сотни лет, как звёзды будут нам милыми братьями. Ибо путь жизни будет найден. Два тихие слова “Бог и Любовь” — две неугасимых звезды в удушливой тьме жизни, мёд, чаще терн в душе человечества, неизбывное, извечное, что как океан омывает утлый островок нашей жизни, — выведет нас “к Материку желанной суши”.

Это писалось уже в преддверии выхода первой книги “Сосен перезвон”, где были собраны стихи, в большинстве своём рождавшиеся на фоне эпистолярного общения с Александром Блоком.

... А что из себя представлял клюевский, “из самых ранних” Давидов псалом, мы не знаем и лишь можем предположить, что это была вариация на один из многочисленных христовских гимнов, где воспевалось совместное радение с воскресшими Христом, Саваофом и Богородицей.

*На горе, горе, на Сионской горе
Стоит тут церковь апостольская,
Апостольская, белокаменная,
Белокаменная, златоглавая.
Как во той ли во церкви три гроба стоят,
Три гроба стоят кипарисовые.
Как во первом во гробе Богородица,
А в другом во гробе Иоанн Предтеч,
А в третьем гробе сам Иисус Христос.*

*Как над теми гробами цветы расцвели;
На цветах сидят птицы райские,
Воспевают они песни архангельские.
А с ними поют все ангелы,
Все ангелы со архангелами,
С серафимами, с херувимами
И со всею силою небесною...*

Под это ангельское пение встаёт из гроба Богородица, за ней — Иоанн Предтеча и ставит “людей божиих во единый круг на радение”, а сам скачет и “играет по Давыдову”; встал Иисус Христос и “поскакал в людях божиих”... Вариаций на тему Воскресения и сошествия “с небеси Духа Святого” на благоверных было множество, и авторство этих гимнов давным-давно утеряно...

“Два царя у нас: Николай II и Лев Толстой, — записывал в дневнике А. С. Суворин. — Кто сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, тогда как Толстой колеблет трон Николая II и его династии”. Неизвестно, знал ли Ключев об обращении Льва Толстого “Царю и его помощникам”, широко расходившемся в списках. Обращение это было написано после студенческих выступлений и отдаче в солдаты 183 студентов Киевского университета. В этом обращении, где, в частности, подчёркивалось: “Обращаемся к вам не как к врагам, а как к братьям, неразрывно — хотите ли вы этого или нет — связанным с нами так, что всякие страдания, которые мы несём, отзываются и на вас, и ещё гораздо тяжелее, если вы чувствуете, что могли устранить эти страдания и не сделали этого, — сделайте так, чтобы положение это прекратилось”, — были сформулированы “малые” требования, “чтобы люди перестали волноваться и нападать на вас”. Первые три комплекса требований — “уравнять крестьян во всех их правах с другими гражданами”, “перестать применять так называемые правила усиленной охраны, уничтожающей все существующие законы”, “уничтожить все преграды к образованию, воспитанию и преподаванию” — естественно, выполнены не были, и Николай II перестал бы быть самим собой, если бы обратил на них своё благосклонное внимание. Зато четвёртый...

“Наконец, в четвёртых, и самое важное, нужно уничтожить все стеснения религиозной свободы. Нужно:

а) уничтожить все те законы, по которым всякое отступление от признанной правительством церкви карается как преступление;

б) разрешить открытие и устройство старообрядческих часовен, церковей, молитвенных домов баптистов, молокан, штундистов и др.;

в) разрешить религиозные собрания и религиозные проповеди всех исповеданий;

г) не препятствовать людям различных исповеданий воспитывать своих детей в той вере, которую они считают истинной”.

Через четыре года после этого Обращения, когда Россия была охвачена первой революционной смутой, был принят “Высочайший указ об укреплении начал веротерпимости” — явно не без воздействия толстовского письма. Но об этом ещё речь впереди.